

18+



Ирина Шаманаева

При истоках вод

Ирина Шаманаева

При истоках вод

«Издательские решения»

Шаманаева И.

При истоках вод / И. Шаманаева — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-516440-7

Первая книга из цикла, посвященного судьбе вымышленного французского историка Фредерика Декарта, рассказывает о детстве и юности будущего ученого, его окружении, друзьях, первой любви, драматических и трагических происшествиях в его семье, событиях истории Франции, на фоне которых разворачивается действие книги. В прошлом семьи Декартов, французских протестантов, когда-то бежавших из страны, есть тайна, которую старшее поколение предпочло забыть. Со временем Фредерик ее разгадывает.

ISBN 978-5-00-516440-7

© Шаманаева И.
© Издательские решения

Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	26
Глава третья	45
Конец ознакомительного фрагмента.	52

При истоках вод

Ирина Шаманаева

В оформлении обложки использован фрагмент картины Жана-Франсуа Раффаэлли
«Порт, залитый светом солнца»

Мария Тимофеева *Редактор*

Светлана Кузнецова *Корректор*

Евгений Яныкин *Дизайнер обложки*

© Ирина Шаманаева, 2020

© Евгений Яныкин, дизайн обложки, 2020

ISBN 978-5-0051-6440-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава первая РОЖДЕННЫЙ В НЕПОГОДУ

Дни Рождества и первые дни нового 1833 года принесли в дом пастора Жана-Мишеля Декарта не радость, а только новые заботы. Конец декабря и начало января в Ла-Рошели, старинном портовом городе на атлантическом побережье Франции, выдались в этом году непохожими на обычные мягкие здешние зимы. Холодно и теперь не было, но таким мрачным этот город пастор еще не видел. Который день солнце почти не показывалось из-за плотных облаков, море штормило, от сырости не сохло выстиранное белье, в комнатах, которые давно не отапливали, стоял запах тления. Хуже всего был ветер, и даже не сам ветер, а его постоянный вой и свист. Обычно узкие извилистые улицы глушили порывы ветра, если он дул в каком-то определенном направлении, но в этот раз он как будто обрушивался на город сверху. По ночам его вой не давал уснуть, а днем горожане из-за него ходили нервные, возбужденные, готовые сорваться по любому пустяку и наговорить своим ближним и дальним такого, о чем бы потом пожалели.

Жене пастора, двадцатитрехлетней Амели Декарт, урожденной Шендельс, вот-вот предстояло родить. Утром пятого января она села на постели и откинула влажные простыни, которые к утру, когда камин остывал, набирали в себя вязкий туман, висящий над городом и морем. Амели нащупала отечными ногами домашние туфли, поднялась с кровати, набросила на свою ночную рубашку широкий темно-синий халат из дамасского атласа и тяжело вздохнула, потому что этот подарок родителей к ее первой беременности теперь на ней не сходился. Через несколько минут она появилась на пороге кухни. Служанка Жюстина за кухонным столом в это время пыталась дать хоть немного кашицы из шпината Мюриэль, первому ребенку пасторской четы. Пюре было, разумеется, очень полезным, но по виду и запаху не слишком приятным. Мюриэль уворачивалась от ложки и колотила пятками по деревянной перекладине своего высокого стульчика.

– О, мадам, – воскликнула служанка, с трудом разгибая спину, – вам сегодня лучше?

Амели что-то неопределенно промычала. Ее немедленно замутило от затхловатого запаха еды.

– Славно, что вы встали на ноги, ведь завтра Богоявление! Я как раз хотела уточнить, по какому рецепту вам больше нравится королевская галета – такая, как делают на севере, тяжелая и сытная, или по рецепту южан, сухая и воздушная?

Жюстина работала в доме пастора Декарта всего полгода, но, как и все в городе, знала, что пасторша приехала сюда из далеких северных земель, покрытых болотами и хвойными лесами, прочерченных медлительными холодными реками. Церкви там огромные, как дворцы, и сложены из темно-красного кирпича, а не из белого песчаника. Перед Рождеством там часто идет снег. На необъятной рыночной площади («Да, Жюстина, она раз в десять больше, чем здесь, в Ла-Рошели, я вас не обманываю!») дети играют в снежки между прилавками, где их румяные, тепло укутанные родители пьют специальное рождественское пиво и сладкое горячее вино. Сказки какие-то. Но приходится верить на слово: за свою семнадцатилетнюю жизнь Жюстина ни разу не видела снега. Название родины мадам Амели – Бранденбург – было очень трудно выговорить новым землякам, привыкшим к более плавной и певучей речи. Город, где жила семья пасторши, назывался чуть-чуть проще: Потсдам. Жюстина слышала от пастора, что после гонений на гугенотов именно там нашли приют многие беженцы из Франции, и бранденбургские протестанты-лютеране приняли их как братьев. Французы-кальвинисты там стали не только многочисленны – немало жителей Потсдама и Берлина до сих пор носят французские фамилии, – но и влиятельны. В этой вере одно время, задолго до унии с лютеранами, даже

воспитывались наследники курфюрстов, то есть князей Бранденбурга. А вот католиков в этой стране до сих пор немного, можно сказать, почти нет. «Вы шутите, господин пастор!» – воскликнула девушка, которая не могла себе представить страну, где нет католиков. Жан-Мишель Декарт улыбнулся и начал было объяснять про договор между германскими князьями, утвердивший принцип *cuius regio eius religio* («Чья власть, того и вера»), но из соседней комнаты раздался громкий призывающий голос мадам Амели, и урок истории пришлось прекратить.

О том, что сам пастор тоже приехал из Потсдама, все давно позабыли. До женитьбы он успел прожить здесь почти три года и стал для общины ла-рошельских протестантов своим. Иному чужаку, может, не удалось бы так скоро войти в доверие к горожанам, среди которых немало богатых и влиятельных людей из семей, чье богатство создавалось веками. Ла-Рошель – город непростой. Давным-давно миновал ее расцвет, а здесь до сих пор помнят о кораблях, нагруженных солью и вином, которые уплывали на запад и возвращались, нагруженные теперь уже золотом, пряностями, драгоценным эбеновым деревом и слоновой костью, а в более поздние времена – сахаром и кофе. И как не помнить, если это баснословное богатство не осело потом в сундуках, нет, оно превратилось в прекрасные дома с аркадами и богатые лавки, в мощенные улицы, в величественные церкви и неприступные городские стены, в новые корабли, которые снова и снова уплывали за удачей и неизменно с удачей возвращались, – в родной деревне Жюстины, Сен-Ксандре, все говорили, что Бог за что-то полюбил Ла-Рошель.

И жители были под стать своему городу: цену себе хорошо знали, чужих близко не подпускали. Но было у этого правила одно исключение. Для протестантов Ла-Рошели все единовверцы считались братьями и сестрами, и они могли здесь рассчитывать на самый сердечный прием. Тем более это касалось потомков тех граждан Ла-Рошели, кто бежал в свое время в другие страны от ужасов контрреформации. Пастор был как раз из таких. Достаточно было на него посмотреть, чтобы понять, что он говорит правду. Жан-Мишель Декарт говорил по-французски не как образованный иностранец, а как настоящий француз, непринужденно употребляя словечки и обороты, которым не учат в школе. Со своим узким лицом, темными волнистыми волосами, серыми удлинённого разреза глазами и крупным, выдающимся вперед носом он являл собой распространенный на французском юго-западе тип внешности. Его фамилия Картен, с ударением на последнем слоге, тоже была совсем не немецкой. Когда он объявил, что его предок – гугенот по имени Антуан Декарт, бежавший со всей семьей в 1685 году из Ла-Рошели в Женеву, а затем в Бранденбург, у новых соотечественников Жана-Мишеля не возникло на этот счет никаких сомнений. Здесь смутно помнили эту фамилию местных уроженцев, состоятельных буржуа, которые одними из первых поддержали Реформацию. Ла-рошельские Декарты не имели никакого отношения к философу и математику Рене Декарту – как известно, уроженцу Турени, католику и дворянину. Они были как минимум в двух поколениях врачами, жили где-то в районе улицы Кордуан, и бесследно исчезли из Ла-Рошели в семнадцатом столетии. В начале девятнадцатого века о том, что Декарты когда-то существовали, напоминали только записи в муниципальных архивах, связанные с ликвидацией старого протестантского кладбища на улице Эскаль.

Жан-Мишель Декарт, едва поселившись в Ла-Рошели, повел себя так, будто никуда отсюда и не уезжал. А вот пасторша за почти три года, проведенные в этом городе, не только не старалась стать своей, но наоборот, постоянно подчеркивала, насколько все здесь для нее чужое и чуждое. На французском она объяснялась довольно сносно, если не считать сильного акцента, но с мужем и дочерью все равно говорила только по-немецки. Она пела Мюриэль немецкие песенки, пыталась учить Жюстину готовить немецкие блюда, строго соблюдала день святого Сильвестра и придавала ему, кажется, не меньшее значение, чем Рождеству. Традиционную ель для Сильвестра здесь было не найти, поэтому она с первой своей зимы в Ла-Рошели ставила в гостиной маленький кипарис в горшке и украшала его свечами, позолочен-

ными орехами и испанскими апельсинами. Праздники, которые особенно почитались во Франции, такого энтузиазма у нее не вызывали.

– Так как же быть с королевской галетой, мадам? – повторила Жюстина.

Амели подошла и коснулась губами шейки дочери. Она даже не попыталась сменить угрюмое выражение лица на более светское. Ее распирало от желания сказать, до какой степени ей плевать на королевскую галету, хоть бы она вообще сгорела. По какому бы рецепту Жюстина ее ни испекла, Амели к ней не притронется. У нее не просто нет аппетита, ее снова начало тошнить, как в начале беременности. Похоже, этот ребенок отравил ей всю кровь до капли. Если муж будет докучать ей просьбой съесть хотя бы один кусочек, она выбросит этот пирог за окно. Жаль, – мысленно добавила Амели к своему внутреннему монологу, – что нельзя туда же выбросить всех этих французов с их идиотскими затеями.

Жюстина сочувственно промолчала и решила, что поставит для пирога легкое тесто на дрожжах и молоке, как делает ее мать. Так она потратит совсем немного масла. Хотя бы это мадам должно понравиться.

Служанка сейчас особенно сильно жалела свою хозяйку, не могла забыть, как плохо ей было после рождественского ужина. Деревенская девушка, дочь фермера успела многое повидать в своей жизни, но чтобы беременная женщина так мучилась – не видела еще никогда. Мадам Декарт ела за столом ничем не приправленный рис и кое-как справлялась, однако стоило ей посмотреть на мужа, с аппетитом обгладывающего утиную ножку, как ее вывернуло. А потом еще раз, и еще. Всю ночь ее худенькое тело с огромным животом содрогалось от рвотных спазмов. Жюстина была уверена, что к утру госпожа пасторша родит. На всякий случай она поставила на плиту кастрюлю с водой и предложила хозяину сбегать за доктором. Протестантский госпиталь был рядом, на углу улиц Амло и Сен-Луи. Даже в Рождество там мог дежурить врач, а не только сиделки. Пастор сбегал сам и привел дежурную акушерку мадам Лагранж. Та похвалила Жюстину за бдительность и расторопность, но после осмотра Амели только покачала головой: нет, еще рано, ребенок на свет пока не торопится.

Она оказалась права. Еще десять дней после Рождества Амели вставала, кое-как одевалась и вперевалку ковыляла по дому. Жена пастора мучилась от собственной праздности, ей казалось, что все вокруг ее за это порицают, но у нее просто не было сил ничем заняться. Мюриэль, которой был уже год и восемь месяцев, досталась ей легко, и от второй беременности Амели не ждала ничего особенного. Увы, второй раз ей не удалось выиграть в ту же лотерею. Мучительная тошнота и обмороки, которые начались уже в первые недели, сначала ее разозлили, потом напугали, а потом погрузили в унылое оцепенение, из которого она так и не выходила, ожидая со своим воспитанным реформатской верой фатализмом хоть какого-то, все равно какого, но конца.

Несчастливая пасторша мечтала только об одном – оказаться в это время, как и в первый раз, рядом со своей матерью. Фридерика Шендельс, Фритци, как звала ее вся семья, умная и энергичная жена аптекаря, умеющая приготовить по рецепту врача самое сложное лекарство и знающая не хуже акушерки, как помочь роженице, не смогла приехать из Потсдама в Ла-Рошель, когда дочь написала ей о своей второй беременности. В Европе свирепствовала холера. По слухам, которые долетали до французской глубинки, она не пощадила даже великого философа Георга Гегеля. В Берлине и Потсдаме к 1832 году она уже почти сошла на нет, однако в марте эпидемия охватила Францию. Большие города опустели, на всех въездах и выездах стояли санитарные кордоны, транспортное сообщение почти прекратилось, а если дилижансы и ходили, было слишком мало желающих пуститься в дальний путь, навстречу опасности. Фрау Шендельс все равно начала собирать дорожный саквояж со словами: «Холера – это не чума, надо только чаще мыть руки, не пить сырой воды, не есть сырых овощей и по возможности не пользоваться общественными уборными!» Но ее муж решительно встал в дверях и сказал: «Вот именно, Фритци. Наша дочь может последовать этим разумным советам и без тебя!»

Господин Шендельс просто не хотел лишиться своей незаменимой помощницы в такое время, когда фармацевты делали состояния на продажах всевозможных очистительных и слабительных снадобий.

Шесть холерных месяцев Амели дрожала от страха за Мюриэль и еще не родившегося ребенка. Когда в сентябре объявили, что опасность миновала, Фритци снова собралась в дорогу, но тут господин Шендельс опять не дал ей уехать – уже без всякого умысла. Он свалился с лестницы и сломал ногу. Что же оставалось делать его жене? Конечно, пришлось сдать обратно билет на дилижанс, потому что кроме нее и лежачего мужа дома оставался только сын Карл-Антон, восемнадцатилетний студент, уже умудрившийся попасть под полицейский надзор. Оставь аптеку на него – и он завтра же устроит там собрание карбонариев!

Теперь Амели могла рассчитывать на приезд матери ближе к концу января. К этому времени ребенок уже родится, если на то будет Божья воля. Ну, а если нет... Тогда они оба, Амели и младенец, упокоятся на погосте святого Элоа, в наспех вырытой могиле где-нибудь на дальнем участке кладбища. У Жана-Мишеля нет семейного склепа, он ведь пришлый. Здесь он живет уже шестой год, три года как натурализовался и взял фамилию Декарт вместо Картен, но когда тебе нет и тридцати, покупка склепа для себя и своих потомков – согласитесь, не то, о чем думается в первую очередь.

«Что ж, – вздохнула Амели, – мама, по крайней мере, увезет Мюриэль в Потсдам и избавит Жана-Мишеля от забот о малышке». Через год пастор Декарт утешится и женится на ком захочет. А Мюриэль вырастет в Потсдаме, в промытых до блеска комнатах над аптекой, на немецких песенках и сказках, на здоровой немецкой еде, с ласковой и строгой бабушкой, которая так ловко управляется со склянками и пузырьками в своих чистейших белых полотняных нарукавниках. Она вырастет среди нормальных людей – соседей и друзей старых Шендельсов. Если только девочку не захотят забрать к себе Картены. Тогда невелика будет разница с Ла-Рошелю: во-первых, старый Картен – француз, и со своими домочадцами он говорит по-французски. А во-вторых, Картенов уж точно не назовешь нормальными...

– Кто знает, в чем твоя судьба, Мюриэль, – вздохнула Амели и погладила по черноволосой головке свою дочь, которая сосредоточенно откручивала руку у фарфоровой куклы. Ничего страшного, Жюстина или сама Амели потом ее пришьют. Зато малышка занята делом и не теребит мать, которая сейчас не в состоянии заниматься своими обязанностями.

По правде, раз Фритци не смогла приехать прямо к родам, Амели сейчас устроило бы даже общество свекрови, Софии-Вильгельмины Картен, урожденной Сарториус. «Даже» – потому что эта ученая особа, дочь профессора Берлинского университета, известного на всю Германию поборника женского образования, смотрела на Шендельсов свысока. Богатство владельцев самой большой аптеки во Французском квартале Потсдама не внушало ей почтения, она и сама была из небедной семьи, а ученость Шендельсов, слишком практическая и прикладная, стояла на ее шкале гораздо ниже, чем умение комментировать «Энеиду» или читать в оригинале труды византийских историков. Когда реформатский пастор и профессор богословия Мишель Картен и фармацевт Фридрих Шендельс устроили брак своих детей, София-Вильгельмина единственная была против. Она говорила, что упорная, трудолюбивая, но начисто лишенная воображения Амалия не пара Жану-Мишелю, что сын будет с ней несчастен, что не надо ему жениться прямо сейчас, да и пастором становиться не надо, раз ум его влечет совсем не к этому. Но старый Картен заявил, что именно такая жена и нужна их первенцу, чтобы тот наконец повзрослел и выбросил из головы дурь про каких-то бабочек и мух, и свадьба состоялась. София-Вильгельмина приняла невестку так, как принимала все остальные невзгоды в своей жизни: с выпрямленной спиной, с застывшим взглядом и с едва заметной усмешкой, которая угадывалась в уголках тонких, плотно сжатых губ. И она держалась своего мнения все три года брака Жана-Мишеля и Амели. Жена ее второго сына, Райнера, смешли-

вая коротышка Адель, дочь учителя из Пфальца, явно пользуется у нее гораздо большей симпатией!

Амели всегда платила свекрови тем же отчуждением и той же неприязнью. Но сейчас она была бы ей рада. С ней можно было бы поговорить на немецком языке! София-Вильгельмина знала французский, испанский, итальянский, шведский, а также латынь и греческий, и все-таки она почувствовала бы нынешнюю боль своей невестки, ее страх и мысли о смерти, она поняла бы, что для нее сейчас родной язык – все равно что протянутая через сотни миль ласковая рука матери. И она не стала бы, как ее сын, который бездушием пошел в отца, на вопросы, заданные по-немецки, демонстративно отвечать Амели по-французски!

Но свекровь не смогла бы приехать, даже если б Амели ее попросила. Она была тяжело больна. Подробностей муж не рассказывал, только очевидно было, что дело плохо, и если не дни, то недели ее сочтены. Еще не старая, пятидесятилетняя женщина все-таки надеялась дожить до рождения сразу двух своих внуков – Адель объявила о своей беременности через месяц после Амели. А вот увидеть ей, очевидно, суждено было только одного – того, кто родится на соседней улице, в сотне шагов от дома Картепов в Потсдаме...

«Наверное, для маленького лучше, что он никогда не встретится со своей странной бабушкой», – подумала Амели.

Думая о своем втором ребенке, она всегда мысленно называла его «он» – почему-то не сомневалась, что это мальчик. В первый раз она не сомневалась, что будет девочка, и оказалась права – почему бы ей не быть правой и на этот раз? Интересно, кто будет у Адели и Райнера. Смешно получится – кузены родятся с разницей в месяц, но один из них Декарт, а второй Картен, один – француз, а второй – немец. Какие же удивительные мысли лезут ей в голову...

Амели взяла корзинку с вязанием и вошла в кабинет мужа, где стояло широкое удобное кресло. Плотнее закуталась в халат, села, подоткнула себе под спину жесткую гобеленовую подушку, ноги поставила на маленькую скамейку. У нее было много времени закончить детское приданое, она уже переживала, как сказала мадам Лагранж, – но кто виноват, что нынешняя беременность сделала из нее совсем другого человека? Истинная дочь своей матери, которая минуты не могла провести с ничем не занятыми руками, теперь превратилась в какую-то корову или ослицу, которой впору лежать на зеленом лугу, в бархатной траве, мягкой, будто в раю до грехопадения, под нежарким предвечерним солнцем, глядеть на проплывающие облака и не думать о времени. Сколько дней Амели не видела солнца? Будь проклята вечная сырость от моря и болот, которые здесь повсюду за городскими стенами, будьте прокляты простыни и скатерти, издающие тонкий, едва уловимый, но отвратительный запах плесени. Будь проклят ветер, который уже не первый день насквозь продувает этот богатый и надменный город, где она должна прожить всю свою жизнь и умереть...

Она подняла глаза от детского чепчика и, будто в первый раз, уперлась взглядом в рамку с огромной тропической бабочкой с острова Таити, висевшую на противоположной стене. На столе у Жана-Мишеля лупа, пинцет, энтомологические булавки, коробочки с еще не определенными насекомыми, пробирки, непонятные таблицы, карты... Хорош пастор, нечего сказать! Едва приехал в Ла-Рошель, сразу свел компанию с местными натуралистами, и даже после того, как принял священнический сан, все свободное время по-прежнему проводит в секции естественной истории городской Королевской академии изящной словесности, в обществе этих стариков, свихнувшихся на своих минералах, раковинах и гербариях – Флерио де Бельвю, д'Орбиньи, Бонплана, Фромантена. Любое их слово для Жана-Мишеля важнее, чем все, что говорит Амели. Самая ничтожная их похвала делает его таким счастливым, каким не в состоянии сделать ни жена, ни ребенок. Господи, прости, пожалуйста, нельзя так думать и говорить. Амели это прекрасно понимает. Но как же она их всех ненавидит! Она не желает им зла, вовсе нет. Просто ей хочется, чтобы они со своей Академией и каким-то музеем, о котором только и слышно разговоров, остались в Ла-Рошели, а она с Жаном-Мишелем вернулась бы в Потс-

дам. Жили бы, растили детей, как все люди. Их звали бы Иоганном и Амалией, и он был бы помощником пастора, а она играла бы в церкви на органе. В Потсдаме она была бы ему хоть чуточку нужнее, чем здесь, потому что там его не отвлекали бы разные глупости. И может быть, они с Жаном-Мишелем со временем тоже стали бы как ее Vati и Mutti. Старый Шендельс до сих пор шагу не может ступить без своей жены, с утра до вечера только и слышно: «Фритци, дорогая...» Амели была воспитана материнским и отцовским примером и так же представляла собственную семейную жизнь, поэтому ей стало очень больно, когда она убедилась, что ее муж прекрасно без нее обходится. Она ему только мешает. Если она завтра умрет – он погрузит чуть-чуть для вида и вздохнет с облегчением. Наверное, таким людям, как Жан-Мишель, вообще незачем жениться. Он бы и не женился, если бы отец его не заставил. Но все же мог бы не забывать так скоро о своей клятве перед алтарем...

Будущая мать расправила чепчик, провела пальцами по внутренней стороне, там, где связанное полотно будет касаться детской головки. А если она не сможет любить этого ребенка? Вдруг он будет ежедневно самим своим существованием напоминать ей о последних мучительных, изматывающих днях беременности, о том, как она отвержена и несчастна? Нет, нет, – Амели даже сделала резкое стряхивающее движение руками, будто отгоняя от себя это предположение. Все забудется, как только малыш родится, и она станет для него примерной матерью. А Жан-Мишель... он станет таким отцом, каким сможет. Все они в руках Божьих. Их жизни предопределены, изменить это нельзя. Амели выпала именно такая судьба, и она должна быть за нее благодарна Господу – могло ведь выпасть и что-то похуже.

Она встала, отодвинула скамейку, потеряла ноющую поясницу. На нее опять навалилась сонливость. Пожалуй, греха не будет, если она вздремнет до вечера. Проходя мимо кухни, она сказала: «Не беспокойте меня пару часов, Жюстина», и не успела служанка ей ответить, Амели уже брела дальше, несла свои распухшие ноги к постели, на ходу сбрасывала туфли, закрывала глаза, погрузилась в глубокий тяжелый сон...

– Вы бы что-нибудь поели, мадам, – Жюстина вошла в комнату Амели. – Вы проспали почти целые сутки, но нельзя столько времени лежать голодной, это вредно для вас и ребенка.

– Чем это пахнет? – принялась Амели.

– Я только что вынула пирог из печи. Простите, мадам, но я его все-таки испекла. Таков французский обычай. Господину пастору не понравится, если мы сегодня вечером не подадим этот пирог.

– Делайте как знаете, Жюстина. А пахнет вкусно. Пожалуй, и я съем кусочек. Мой муж еще не пришел?

– Нет, мадам, – опустила голову служанка.

Она знала, что богослужение давно закончилось, и осуждала пастора за невнимание к беременной жене и малышке-дочери. Он, конечно, сидит сейчас в церковной библиотеке и что-нибудь читает или разбирает свои коллекции жуков. Нашел повод и время, чтобы не торопиться домой! Жюстина не одобряла скарденности и угрюмого нрава госпожи пасторши, но считала, что раз уж господин пастор из всех знакомых девушек выбрал в жены именно ее, следует быть с ней подлее. Вряд ли его привели в церковь в кандалах, и уж наверняка он не был прикован к алтарю якорной цепью, пока пастор соединял им руки и благословлял на счастливое супружество!

Жан-Мишель пришел через час, хмурый и озабоченный. Равнодушно потрепал по щеке дочку, когда она подбежала к нему.

– Почему Мюриэль все еще не спит, Жюстина?

– Она ждет свой кусочек галеты, господин пастор. А вдруг корона попадется именно ей?

– Ну хорошо, – буркнул Жан-Мишель, – давайте будем пировать.

Это слово совершенно не вязалось с его недовольным тоном.

– Мадам Амели хорошо себя чувствует? – спросил он следом.

– Не думаю, господин пастор. Но она обещала выйти к столу. Как прошло богослужение?

– Превосходно, – ответил пастор. Чтобы не пускаться в объяснения, ему пришлось покривить душой. – Жаль, что из моих домашних никто не явился.

В действительности он был неудовлетворен собой еще больше, чем обычно. Проповедь по случаю всеми любимого праздника получилась слабой, он сам это знал, как знал и то, что прихожане сегодня ждали от него больше эмоций и меньше рассуждений, меньше экскурсов в историю Палестины и больше поучительной житейской мудрости. К счастью, всех дома ждали доброе вино и блестящие от масла теплые ароматные галеты с миндальной начинкой. Поэтому предвкушение праздника заставило их забыть о возможных упреках сразу же, как только отзвучал орган и пастор спустился в церковный зал, а его место занял староста с объявлениями.

– Жан-Мишель, это ты? – послышался слабый голос из спальни.

Пастор толкнул тяжелую дверь. Он ожидал увидеть жену лежащей в постели, но Амели стояла перед зеркалом и причесывалась. Волосы у нее были густые, светло-каштановые, красивые даже сейчас, когда в ней самой ничего красивого не осталось. Он заметил, когда она подняла руку с гребнем, как глубоко врезалось в опухший палец ее обручальное кольцо. Наверное, передавило кровотоки и причиняет боль, а снять его ни с мылом, ни с гусиным жиром теперь не получится.

– Жюстина сказала, что тебе нехорошо. Что тебя беспокоит?

– У меня ничего не болит, – ответила жена. – Я просто боюсь. От этого иногда умирают, если вдруг ты не знаешь.

– Что ты выдумываешь, дорогая? Умирают роженицы, которым вовремя не оказали медицинскую помощь. А у нас в паре кварталов отличный госпиталь. Доктор Дювоссель и мадам Лагранж просили меня не стесняться и звать их в любое время дня и ночи. Ты в хороших руках.

– Тебе-то, конечно, легко говорить, – проворчала Амели.

– Но надо бы заранее показать тебя доктору Дювосселю. Мне не нравятся твои отеки, – он показал на ее кольцо на пальце, который надулся как резиновый. – Такого быть не должно.

– С Мюриэль тоже под конец началось, но мама стала давать мне какое-то лекарство, и все прошло. Не помню, как оно называется.

– Я тоже приносил тебе порошки из аптеки на улице Августинцев. Почему ты их не принимаешь?

– Это не те порошки! – в голосе Амели появились слезы. – Они мне совсем не помогают! Все идет не так! И даже мама до сих пор не приехала!

– Пойдем за стол, это немного тебя отвлечет, – сказал Жан-Мишель. – И я уверен, что фрау Шендельс уже садится в почтовую карету, а может, даже едет по Бадену или по Вестфалии. Ты ведь знаешь, что отправлять письмо бессмысленно – и письмо, и сама Фритци будут здесь в один день.

Амели молча усмехнулась. Отвлечет! Только человек, никогда не испытывавший страха близкой смерти, способен думать, что каким-то пирогом с глупой бумажной короной можно прогнать этот страх! Но она заплела волосы, уложила их в прическу, воткнула шпильки и оправила на себе шелковый халат. Нечего распускаться. Она и так за последние недели слишком часто теряла лицо перед мужем и служанкой. Ее мать даже в такой момент была бы подтянутой, здравомыслящей и невозмутимой. Амалия Шендельс тоже не посрамит бранденбургскую честь.

Пирог был разрезан. Пастор и его жена надкусили свои кусочки – фарфоровой фигурки волхва там не оказалось. Мюриэль раскрошила свой – и у нее было пусто. «Еще по одному?» – предложила служанка. «Нет, Жюстина, вы сами еще не брали, теперь вы», – возразил Жан-Мишель. Девушка смутилась, оглядела золотистую поверхность галеты, пытаясь понять, не приподнялся ли над «секретом» чуть заметный бугорок теста, изучила срезы, взяла кусочек,

показавшийся ей безопаснее других, и надо же – фигурка оказалась именно там. Она лежала в толстом слое миндального крема, никак не обозначая своего присутствия.

– Выбирайте короля! Выбирайте короля! – закричал Жан-Мишель.

Во всем доме мужчина был только один – сам господин пастор. Именно этого хотелось избежать Жюстине, знающей, как ревнива госпожа пасторша.

– Я отдам свой кусок Мюриэль, пусть она выбирает, – прошептала служанка.

– Нет, нет! Корона ваша! Вы королева. Выбирайте короля!

Жюстина, вспотевшая от смущения, протянула боб Жану-Мишелю.

– Ну давайте же, поцелуйтесь, – процедила Амели.

– Это вовсе не обязательно, – пролепетала Жюстина.

– Не лгите, Жюстина. Думаете, я не знаю французских обычаев? Давайте же! Король пьет! Королева пьет!

Пастор выпил, деликатно коснулся губами щеки служанки и тут же не без сожаления отодвинулся. «Какая милая девушка, добрая, славная, – подумал он. – И к тому же хорошенькая...» Одернул себя: Амели уж точно не виновата в том, что во время беременности она так подурнела. Ее внешность в ту пору, когда их сосватали родители, не вызывала у него никаких возражений. Зато характер невесты, склад ума, убеждения были противоположны его собственным, и он сразу понял, что они способны превратить его семейную жизнь в ад.

У Амели тоже покраснелось лицо, хотя она пила только воду. От стыда за свою вспышку, от раскаяния, от жалости к себе, обреченной жить среди всего этого, от горького осознания, что ее муж гораздо больше француз, чем немец, и куда ближе к этим странным людям, чем к ней, Амели застонала. В гробовой тишине за столом ее слабый стон прозвучал громко и горестно.

– Что с вами, мадам? Вам плохо? – вскочила со своего места Жюстина.

– Я хочу лечь. Меня снова тошнит.

– Вам просто тяжело сидеть, мадам, конечно, надо поскорее лечь. Давайте я доведу вас до спальни.

– Уложите Мюриэль, Жюстина. У меня пока еще есть муж, и хоть немного позаботиться о жене – его обязанность.

– Да, мадам. Конечно, мадам.

– А теперь уходи, – объявила Амели Жану-Мишелю, когда он с трудом довел ее до кровати. – Лучше тебе сегодня спать в кабинете. Не хочу стать для тебя еще противнее, чем всегда.

– Какие глупости! Вдруг тебе понадобится помощь?

– Позвоню Жюстине, а она разбудит тебя, если будет нужно. Это случится завтра или послезавтра, я чувствую.

Под утро Амели проснулась в чем-то мокром. Ей показалось, что это кровь, что ребенок захлебнулся и погиб, и она тоже умирает. Но боли, как ни странно, не было. На звон колокольчика прибежала Жюстина из своей комнаты наверху, зажгла пару свечей, откинула одеяло. Постель пасторши была мокрая, но не окровавленная.

– Да это воды отошли, – догадались обе. – Значит, совсем скоро. Надо бежать за доктором или за мадам Лагранж.

Разбуженный Жан-Мишель второпях оделся, накинул пальто. «Застегнитесь! – сказала Жюстина. – Я выходила на улицу выплеснуть воду и заметила, что с вечера похолодало». «Потом, потом, – отмахнулся пастор. – Надеюсь, доктор Дювоссель не будет меня бранить за то, что я не дал ему поспать сегодня. Уверен, мадам Лагранж и одна бы справилась, но ради спокойствия Амели...»

Внезапно он притянул Жюстину к себе и поцеловал в лоб, к ее огромному изумлению.

– Вы милая девушка, Жюстина. Позаботьтесь о мадам Амели. И молитесь, пожалуйста. Я, видимо, плохо умею...

Затворяя за ним дверь, служанка помедлила. Она закуталась в шаль и вышла на крыльцо. Улица Вильнев сбегала с невысокого холма, где стояла католическая церковь Нотр-Дам. Пастор пошел вниз, в направлении моря, к улице Сен-Луи, а девушка посмотрела в другую сторону, на выступающие из рассветной мглы белые стены и высокий островерхий купол старейшей церкви Ла-Рошели. Жюстина была, конечно, протестанткой уже не сосчитать в каком поколении и не привыкла молиться Деве Марии, но теперь «*Ave Maria gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus...*» само слетело у нее с языка.¹

У доктора Дювосселя и мадам Лагранж лица были немного озадаченные. С Амели ничего не происходило. «Странно, – сказал доктор. – Где же схватки?» «Вы считаете, это я виновата, что схваток нет?» – спросила Амели. – «Нет, но вы должны себе помочь. Ступайте гулять. Не по улице, конечно, а по дому. Только не вздумайте подниматься по чердачной лестнице».

Амели добросовестно описывала круг за кругом: гостиная, столовая, кухня, передняя, кабинет, супружеская спальня, две спальни для гостей, и опять по новой. Результата не было. Жюстина уговаривала ее поесть, и хотя Амели сегодня не тошнило, ей не хотелось есть уже от страха: она чувствовала, что происходящее с ней – ненормально. В конце концов она утомилась и легла на перестеленную кровать. На улице опять завывал ветер, жалобно скрипели ставни. Где-то наверху в одной из четырех спален (в первой от двери спала Мюриэль, в следующей Жюстина, третья была приготовлена для нового малыша, а четвертая стояла пустая) один ставень сорвался с петель и бился о стену с раздражающей неритмичностью.

Так прошел весь день. Доктор написал рецепт и отправил Жюстину в аптеку, а сам ушел к другим больным. Мадам Лагранж осталась с Амели. Однако доктор велел дать ему знать, когда начнутся схватки – при таком продолжительном безводье роды наверняка будут тяжелые, и ребенка, скорее всего, придется спасать. «А что с самой Амели?» – спросил Жан-Мишель. Врач и акушерка переглянулись. «Ваше преподобие, господин пастор, – сказал доктор Дювоссель, – я не буду от вас скрывать, что положение сложное. Как только состояние вашей жены хоть в чем-то изменится, сразу бегите на улицу Сен-Луи, да не в госпиталь, а ко мне домой, и не стесняйтесь барабанить в дверь со всей мочи».

Схватки начались глубокой ночью. Жан-Мишель побежал за доктором, Жюстина, исполняя указания акушерки, поставила на плиту котел с водой и развесила на спинках стульев у очага все самые мягкие и теплые пеленки и одеяла. Мадам Лагранж умело массировала спину и поясницу извивающейся от боли Амели. «Спасибо, – прохрипела роженица, – даже моя мать не помогла бы мне лучше».

Пока все было бесполезно. Амели стонала, кричала, билась на кровати, тужилась изо всех сил, однако ей не удавалось вытолкнуть упрямое существо наружу. Доктор Дювоссель, сам весь красный от натуги, вышел в коридор, где ждал Жан-Мишель. Пастор протянул врачу стакан сидра, и тот жадно выпил.

– Делаем все, что можем, – ответил врач на незаданный вопрос пастора. – Ваша жена держится, хотя ее силы на исходе. Она храбрая и стойкая женщина, но всему есть предел.

Служитель бога, который еще три года назад мечтал поступить в университет на факультет естественных наук, при этих словах опустил голову.

– Сражение не проиграно, господин пастор, – устало возразил врач. – Но дальше ждать невозможно. Будем накладывать жгут, а потом, если понадобится, щипцы. Помогайте нам своими молитвами и будьте неподалеку.

В самый сумеречный час, «между собакой и волком», как называют это время французы, в половине четвертого утра восьмого января 1833 года Амели родила крошечного мальчика. Он был совершенно синий, и когда он первый раз закричал, этот слабый писк услышали только

¹ Радуйся, Мария, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты среди женщин... (лат.) – начало одной из главных католических молитв.

доктор, акушерка и Жюстина. Амели была без сознания. На то, что она еще жива, указывал только сумасшедший стук сердца, готового протолкнуться сквозь ребра и выскочить из груди. Жана-Мишеля в этот момент не было под дверью: наверху заплакала Мюриэль, и пастор в два прыжка перенесся в комнату дочери.

Мюриэль еще не проснулась, просто поняла шестым чувством, что доброй няни Жюстины в соседней комнате нет. Жан-Мишель подоткнул ей одеяло, погладил по спинке, тихо-тихо запел колыбельную: ему казалось диким петь в эту минуту, когда Амели и «плод ее чрева» мучаются, может быть, умирают, может быть, уже умерли... Девочка поворочалась в кроватке и уснула. И тут в ночи раздался крик еще одного младенца. Согретый, укутанный новорожденный закричал уже в полную силу своих легких. Жан-Мишель вскочил на ноги. Кажется, теперь ему понадобился всего один прыжок, чтобы очутиться внизу.

– Слава тебе, Господи! Ребенок! Доктор, он жив? Амели жива? Они выживут? – ворвался в комнату пастор Декарт.

– Разумеется, ваш сын жив и не собирается умирать, – широко улыбнулся доктор Дювоссель. – Дайте-ка нам всем воды или сидра, а еще лучше, сварите кофе.

– Я сейчас сделаю! – заторопилась сияющая Жюстина.

– Ребенок... Где ребенок? – прохрипела Амели, медленно возвращаясь в сознание.

– Мадам Декарт, у вас чудесный сын. Все плохое уже закончилось, – голос акушерки, как и Фритци Шендельс, был способен разогнать любые тревоги.

– Дайте его мне... Я должна... убедиться...

Мадам Лагранж положила обтертого и укутанного младенца рядом с матерью. Пастор присел на корточки возле кровати и в порыве раскаяния и запоздалой нежности поцеловал жену в висок.

– Он красивый, да? – прошептала мать.

– По правде говоря, сейчас о нем нельзя этого сказать, – улыбнулся отец. – Он весь багрово-синий, это не опасно, доктор?

– Лучше бы он был просто багровым, как все здоровые младенцы, – ответила за доктора мадам Лагранж. – Синее лицо – оттого, что он чуть не задохнулся. Но теперь, видите, уже розовеет. А волосики черные и немного выются, как у Мюриэль. Наверное, тоже станет похож на вас. Вот радость будет у Мюриэль, когда завтра она познакомится со своим маленьким братом! Кстати, имя вы уже приготовили?

Жан-Мишель Декарт и его жена озадаченно переглянулись. Каждый из них, конечно, думал об имени и для мальчика, и для девочки, но между собой они почему-то ни разу это не обсуждали.

– Может, Жан-Франсуа? – неуверенно предложил отец. – Или Анри? Максимилиан?

– Если ты не против, я хочу назвать его Фредериком, – сказала мать.

И оттого, что она сказала это по-французски, а не по-немецки, а может, и оттого, что после всех мучений, вынесенных из-за этого ребенка, она имела полное право оставить последнее слово за собой, Жан-Мишель сразу согласился и не стал настаивать на собственных вариантах.

– Это в честь господина Шендельса? – только и спросил он.

– И мамы. Она будет его крестной, когда приедет, она просила об этом в письме.

– Хорошо, что мы не в Потсдаме, – засмеялся Жан-Мишель, обращаясь к доктору и акушерке. – У немцев это имя слишком популярно, особенно там, откуда родом мы с женой. Моих тестя и тещу зовут одинаково, и это не такой редкий случай, как можно подумать. Не знаю, как теперь будет выкручиваться мой младший брат, если у него тоже родится мальчишка. Назовет, должно быть, Карлом или Иоганном. А девочка, конечно, будет Софией... Ну, добро пожаловать в этот мир, Фредерик Декарт.

Он осторожно взял теплый сверток со спящим младенцем, который ведасть не ведал о том, что живет на земле первый день из отпущенных ему лет. В ответ на встревоженный взгляд мадам Лагранж пастор показал, что прекрасно знает, что новорожденным надо поддерживать головку.

– У нас ведь уже есть Мюриэль, – с улыбкой напомнил он пожилой даме. – И мне то и дело приходится брать младенцев у родителей во время крещения, так что не сомневайтесь, я умею с ними обращаться. А кто же будет крестным у нашего сына? Доктор Дювоссель, я бы хотел попросить вас об этой чести, потому что вам и мадам Лагранж он обязан своим спасением.

– Я согласен, – ответил доктор. – Но раньше, чем через неделю, я его крестить не рекомендую. Он еще очень слаб, а в церкви слишком холодно.

– Верно, – закивала мадам Лагранж, – и в следующий раз напомните-ка, господин пастор, этой бестолочи Шарпантье, нашему сторожу и истопнику, что в январе угля надо сыпать больше, чем в октябре или в марте. Пол-общины с Рождества ходят простуженные. А уж перед крестинами он просто обязан будет хорошенько протопить баптистерий. Мадам Шендельс, я думаю, не даст провести обряд, если найдет церковь слишком выстуженной. Во всяком случае, если бы крестили моего внука, я бы так и поступила.

Амели благодарно улыбнулась. Жан-Мишель тоже улыбнулся, хоть и более принужденно.

– Малыш немного окрепнет, закончится непогода, тогда и повеселимся, – примирительно подытожил доктор. – Посветите-ка мне на стол, я заполню свидетельство для мэрии.

Жюстина принесла кофейник, молочник и чашки на подносе. Акушерка помогла молодой матери приложить младенца к груди. Амели склонилась к нему и пощекотала носом его головку. Она еще не была до конца уверена в том, что выживет сама, не уверена была даже в том, что хочет выжить – слишком она устала, и сейчас, когда у нее больше ничего не болело, умереть ей казалось легко и приятно – куда легче, чем продолжать жить. Но мысль, что сын оказался в безопасности, выбравшись из ее ненадежного тела, принесла ей облегчение. И она прошептала в крошечное ухо самые ласковые немецкие слова, какие только пришли ей в голову: «Mein Knabelein! Mein Sönnchen! Mein liebes, liebes Kindlein, Gott behüte dich!»²

Доктор, акушерка, пастор и Жюстина пили кофе за маленьким круглым столом, на котором обычно лежала Библия. Амели пришлось приподнять голову и осторожно влить в рот немного светло-коричневой жидкости: полчашки подогретого молока, чуть-чуть кофе. «Больше сейчас не нужно, – сказал доктор, – пусть она поспит». И она действительно скоро уснула. Жюстина осторожно забрала у нее младенца и положила в колыбель, высланную заранее согретыми пеленками.

Рассвет медленно вступал в комнату, и ночь, переходящая в утро, теперь сама напоминала крепкий кофе, в который кто-то щедро лил молоко и не мог остановиться. Жан-Мишель Декарт не помнил, как ушли доктор и акушерка, как ускользнула наверх Жюстина – вот-вот должна была проснуться Мюриэль, а самой Жюстине теперь уже не сомкнуть глаза до вечера. Пастор обнаружил себя только за письменным столом в кабинете, в окружении своих книг и энтомологических инструментов. И теперь, когда измученное лицо жены и мокрая макушка новорожденного сына отодвинулись из его памяти куда-то далеко, снова вернулась мысль, которая не давала ему покоя: вот он пастор, муж, отец уже двоих детей, и это окончательно и навсегда, дорога назад для него отрезана...

Фридерика Шендельс приехала через три дня, как всегда, спокойная и деловитая, и Жан-Мишель поймал себя на неприязненном чувстве к теще, хотя обычно хорошо с ней ладил. Он рассказал, что ее дочь едва не погибла в родах, и мстительно отметил, как ее хваленая невозмутимость несколько омрачилась беспокойством. Но следом за этим пришлось помрачнеть уже ему самому. Перед отъездом во Францию Фридерика навестила старых Картенов и привезла

² Мой мальчик! Мой сыночек! Мое милое, милое дитя! Сохрани тебя Бог! (нем.)

Жану-Мишелю последние новости о здоровье его матери. Как раз в канун Богоявления Софии-Вильгельмине резко стало хуже, морфин теперь помогает совсем ненадолго, она превратилась в комок боли, и самое плохое, что при этом она остается в полном сознании. Фридерика держала ее руки, гладила высохшие кисти с желтыми ногтями и говорила, что едет к ее старшему сыну и невестке и обязательно передаст им привет и напутствие от госпожи Картен. София-Вильгельмина смотрела куда-то сквозь нее и молчала. Только когда Фритци уже собралась уходить, больная разжала губы и прошептала: «За чертой ничего нет... Ничего нет...» Бредит, наверное... Еще перед Рождеством доктора давали ей срок в три-четыре месяца, но теперь сомневаются даже в том, что она доживет до конца января и увидит своего второго внука. Адель Фридерика тоже видела, с ней как будто все в порядке, беременность она переносит легко. Но плачет каждый день, видя, как тяжело сейчас ее мужу Райнеру – он ведь так привязан к матери... Жан-Мишель почувствовал благодарность теще за то, что она не сказала «был».

Он спросил про отца, хотя не сомневался, каким будет ответ.

– Стараются держаться стойко, – сказала Фритци.

– Это не так уж трудно, если умираешь не ты, – ехидно заметил Жан-Мишель.

Мать Амели поежилась под его взглядом. Она не любила закрывать глаза на правду, даже самую неприятную, однако от такого проявления сыновней непочтительности, если не сказать враждебности, ей стало не по себе.

– Вы ведь знаете, что ваш отец предпринял все, чтобы если не вылечить госпожу Картен, то хотя бы избавить ее от лишних страданий. При вашей матери постоянно находится сиделка, каждый день бывает доктор, у госпожи Картен есть все, в чем она сейчас она нуждается. Если это не забота, то я не знаю, что назвать заботой, дорогой Иоганн.

Жан-Мишель промолчал, предпочел не уточнять, что за лекарствами для матери отец, конечно же, посылает в аптеку Шендельсов, и хотя тесть и теща по-родственному делают ему хорошую скидку, сами тоже остаются не в накладе. Думать об этом не хотелось. Он многое бы отдал, чтобы оказаться сейчас в Потсдаме. Жан-Мишель не любил ни родной город, ни страну, где родился, но мать всегда была его лучшим другом и понимала его с полуслова. Только ее не хватало ему в Ла-Рошели. Жаль, три года назад у них двоих не хватило воли и авторитета, чтобы сорвать план отца сделать его пастором и женить на Амалии Шендельс. Но и после его женитьбы мать ему безмолвно сочувствовала и во всем его поддерживала. Может быть, от бессилия ему помочь она и заболела? Правды все равно никогда не узнать.

– Вы что же, не хотите увидеть внука? – спросил он, чтобы переменить тему. Фридерика с готовностью встала. Она все еще была в дорожном саржевом платье в полоску, с простым белым воротником, и в дорожном чепце на седых косах, уложенных двумя толстыми кренделями, и должна была сначала переодеться. Когда она только вошла в дом, Жюстина сообщила, что мадам Амели еще спит, и Фритци не стала ее тревожить. Она лишь обняла Мюриэль, вручила ей набор кубиков Фребеля – она уже давно была поклонницей его воспитательных идей, – и пообещала внучке, что после завтрака с ней поиграет. Все равно сначала ей нужно было обсудить с Жаном-Мишелем печальные события, чтобы потом перейти к радостным.³

– А как поживает Карл-Антон? – спросил пастор Декарт. – Все так же интересуется природой землетрясений? Он, конечно, читал труды Александра фон Гумбольдта? А может быть, даже успел лично встретиться с этим необыкновенным человеком, ведь в прошлом году он вернулся, как я слышал, из Парижа в Берлин? Пусть напишет мне, я его познакомлю с людьми, которые занимаются сейсмологией и вулканологией прямо здесь, в Ла-Рошели.⁴

Госпожа Шендельс тяжело вздохнула.

³ Фребель, Фридрих (1782—1853) – немецкий педагог, автор идеи всестороннего развития маленького ребенка с помощью шести «даров», в числе которых были изобретенные им кубики-головоломки, разделенные на части и опять составленные в одно целое.

⁴ Гумбольдт, Александр фон (1769—1859) – выдающийся немецкий путешественник, натуралист, географ.

– К сожалению, теперь его интересуют другие потрясения, социальные. Боюсь, что он вот-вот бросит университет – или его исключат... Ну что ж, пора будить Амалию. И я хочу скорее увидеть маленького Фредерика. Не могу поверить, что вы решили назвать его этим именем.

– Так захотела Амели.

– Понятно. – Госпожа Шендельс чуть-чуть улыбнулась. – А все-таки, Иоганн, объясните мне, ради всего святого, почему вдруг вы из Картена стали Декартом? Разве ваша фамилия была недостаточно французской? Не могу поверить, что ваш отец не знает точно, как звали вашего предка, который в пору гонений на гугенотов приехал в Бранденбург из Франции.

– Это любопытная история. Если вам действительно интересно, при случае расскажу, – ответил Жан-Мишель.

Его раздражение чуть-чуть отступило. Как ни чуждо ему было все потсдамское и особенно чужды Шендельсы, воплощающие сам дух Потсдама, Фритци была, по крайней мере, рассудительна и неглупа. Ей можно было рассказать о письме, которое он нашел в старом молитвеннике в библиотеке реформатской церкви Ла-Рошели, – письме, отправленном из Женевы в год издания эдикта Фонтенбло и подписанном именем «Антуан Декарт». А заодно и о другой находке, которую Жан-Мишель обнаружил еще в родительском доме в Потсдаме. Это были «Размышления о христианской вере» Жана Кальвина, отпечатанные в Ла-Рошели в те годы, когда она была столицей гугенотов французского юго-запада. На форзаце этой книги тем же самым почерком было выведено то же имя – Антуан Декарт.

– Но в том, чтобы поменять фамилию, нет ничего странного, – продолжал пастор. – Мой коллега по секции естественной истории в Академии, доктор Бонплан, врач и ботаник, однажды рассказал, что его отец от рождения носил фамилию Гужо. Однако в год, когда родился его старший сын, он посадил небольшой виноградник и, довольный делом рук своих, принял новое имя – Бонплан, то есть *bon plant*, «доброе растение».

– Как можно переименовать себя в честь растения, пусть даже упомянутого в Священном Писании, – этого мне, боюсь, никогда не понять, – пожалала плечами Фритци. – Амалия мне жаловалась, что вы проводите слишком много времени с людьми, которые дурно на вас влияют. Моя бедная дочь немного ревнует и поэтому, скорее всего, преувеличивает, но мне тоже показалось странным, что вот мы говорим с вами целый час, и вы ни разу не упомянули о своих пасторских обязанностях. Только Академия, ботаника, вулканы, землетрясения... Вы все так же ловите бабочек в любую свободную минутку, дорогой Иоганн?

Пастор посмотрел на нее с прежней неприязнью, но она примирительно улыбнулась, давая понять, что не находит во всем этом ничего особенно плохого.

– Ну, не сердитесь, я шучу. Я ведь швейцарка по рождению, а мы ценим добрую шутку не меньше, чем обязательность и точность.

– А уж как вы любите этим хвалиться! – поддел ее Жан-Мишель.

– Ничего подобного! Разве то, что вода мокрая – это ее заслуга? Ее просто Бог создал с такими, а не с другими полезными свойствами, вот и все. Проводите меня в комнату, которую вы мне отвели, Иоганн, – сказала Фридерика. – Я сменю платье и пойду к дочери. Если крестины состоятся уже во вторник, Амалия должна поскорее встать на ноги. И как ваша служанка успевает вести хозяйство, готовить вам еду и справляться с двумя детьми? Она ведь сама еще совсем девчонка. Ее нужно немедленно разгрузить, иначе она от вас уйдет, а новую помощницу на таких условиях вы не найдете. Я останусь здесь, – подвела черту госпожа Шендельс, – пока Амалия не станет снова в состоянии выполнять свои обязанности. А мой муж, надеюсь, сможет в это время справиться с аптекой и как-то вразумить Карла-Антоня. Он не привык долго без меня обходиться, но месяца полтора придется потерпеть.

«Полтора месяца!» – ужаснулся Жан-Мишель. Тем временем Фридерика в свежем платье, благоухающем лавандой, и в белых аптечных нарукавниках уже открывала дверь в комнату Амели, целовала свою дочь, восторженно ахала, вынимая из колыбельки внука. После выра-

жения первых восторгов две женщины принялись сосредоточенно изучать белки глаз ребенка на предмет младенческой желтухи и осматривать плохо заживающую пуповину, а об его существовании сразу забыли. И пастор подумал: полтора месяца – это слишком мало, надо попытаться удержать Фритци в Ла-Рошели хотя бы до весны...

В назначенный день в баптистерии реформатской церкви на улице Сен-Мишель, отменно протопленном для такого случая, при большом стечении народа состоялись крестины, и имя Фредерика Декарта, рожденного в Ла-Рошели восьмого и крещеного по реформатскому обряду пятнадцатого января 1833 года, сына Жана-Мишеля Декарта, пастора, и его супруги Амели, было внесено в приходскую книгу каллиграфическим почерком Поля-Анри Сеньетта, фармацевта, секретаря совета консистории. Ниже расписались восприемники младенца: доктор Франсуа-Жозеф Дювоссель, реформатского вероисповедания, из Ла-Рошели, и Фридерика Шендельс, урожденная Видмер, из Потсдама, также реформатского вероисповедания.

Жан-Мишель никого, кроме самых близких друзей, не приглашал на крестины. Не хотел навязывать свои семейные дела прихожанам, среди которых было немало богатых и влиятельных людей. Просто сказал накануне, на воскресном богослужении, что обряд будет совершен в ближайший во вторник. Но почему-то пришли очень многие. И Фридерика Шендельс, крепко сбитая, румяная и опрятная, как швейцарская молочница, и бледная, едва стоящая на ногах Амели, и Жюстина, которая обнимала за плечи Мюриэль, одетую в нарядное платье, и акушерка мадам Лагранж, приглашенная в знак особой чести тоже постоять у купели, удивленно смотрели вокруг – тесный баптистерий давным-давно не вмещал столько народу!

Первой причиной было счастливое совпадение – как раз в этот день всего в двух шагах отсюда, в мэрии, только что закончилось совместное заседание генерального совета департамента Нижняя Шаранта и муниципального совета города Ла-Рошели. Все городские нотабли были здесь, и представителям протестантской общины ничего не стоило сделать эту малость для пастора Декарта и побывать на крестинах его первого сына. Ну а вторая причина была еще проще. Реформаты Ла-Рошели за три года действительно полюбили своего молодого пастора.

В свое время его выбрали на эту должность потому, что у него была степень магистра богословия. Проницательные старики из совета консистории отлично понимали, что его основные интересы лежат вовсе не в области теологии, однако Жан-Мишель в их глазах испукал недостаток чисто религиозного рвения своей широкой образованностью и просветительским пылом. Не самые бесполезные качества для проповедника! Ведь пастор у протестантов – не жрец, а учитель, и Жан-Мишель уже доказал, что эта роль ему по плечу. Едва только он появился в Ла-Рошели с рекомендательным письмом своего отца, доктора Мишеля Картена, пастора Французской церкви Потсдама и профессора теологии Берлинского университета, он сразу предложил общине свои услуги. По просьбе тогдашнего пастора он взял на себя воскресную школу и быстро прославился умением так интересно и понятно объяснять сложные вещи, что его понимали даже самые туповатые ученики. Потом его выбрали новым пастором, и на новом посту он тоже не обманул ожиданий. Пастор Декарт нередко приводил на проповедях уместные примеры и аналогии из естественных наук, светской истории и литературы, и хотя заканчивал обычно выводом о божественной мудрости, которая одна только и способна объяснить тайны мироздания, на которые пока не находит ответа наука, прихожане чувствовали, что каждый раз выходят из церкви чуть-чуть образованнее, чем туда вошли.

К этому нужно добавить, что Жан-Мишель был красивым мужчиной: высоким, стройным, с копной темных волнистых волос и точеными чертами лица. Еще в те годы, когда он не стоял за пасторской кафедрой, а занимался с детьми, его серые глаза в обрамлении черных густых ресниц неотразимо действовали на любую прихожанку, и вся община гадала, кого же он в конце концов выберет себе в жены. Выбирать было пора, он приехал в Ла-Рошель не таким уж юным, ему исполнилось двадцать шесть. Невесты подходящего возраста подрастали в семьях Адмиро, Бернонов (конечно, вряд ли цвет ла-рошельского купечества отдал бы свою дочь

за небогатого и незнатного жениха, но можно было попытаться и сорвать крупный куш в случае удачи!), Планше, Каstellанов (некоторое предубеждение против иностранцев не мешало им привечать Жана-Мишеля в своих домах), Сеньеттов (а вот здесь были все основания надеяться на благосклонность Мари-Сюзанны и ее родителей). Но Жан-Мишель съездил на родину и привез жену из Потсдама. Отчего да почему – никто и не подумал удивляться. Только многие между собой посмеялись, что мадемуазель Шендельс, как и мадемуазель Сеньетт, тоже оказалась дочерью аптекаря.

Баптистерий был освещен солнцем, которое наконец-то пробилось сквозь тучи и лилось через высокие окна с частым переплетом на стены, обшитые деревянными панелями, на каменный пол и на темные одежды гостей. На единственной скамье сидел семидесятитрехлетний Жан-Луи Адмиро, префект департамента Нижняя Шаранта, представитель, наверное, богатейшей и знатнейшей протестантской фамилии в Ла-Рошели. Рядом с ним, тоже со звездой офицера ордена Почетного легиона на лацкане фрака, тоже немолодой, но выглядящий гораздо более бодрым и подтянутым, – Луи-Бенжамен Флерио де Бельвю, бывший депутат Национального собрания Франции, муниципальный и генеральный советник, прославленный ученый-геолог, председатель секции естественных наук Академии. Пастор Декарт почувствовал себя растроганным, когда их увидел. Они – элита Ла-Рошели, драгоценная соль этой земли. То, что Жан-Мишель, не жалея сил и времени, работает с ними в научных обществах и комитетах, еще мало о чем говорит. Но раз они пришли на его семейное событие, значит, он для них свой, он окончательно принят.

Пришел, конечно, и мэр города, тоже протестант, Пьер-Симон Калло. Мэрия совсем рядом, как, впрочем, и префектура, и фамильные особняки Адмиро и Флерио. В старой Ла-Рошели все рядом. Жан-Мишель приветствовал господина Калло дружеским кивком и широкой улыбкой. Мэр был молод, всего на десять лет старше самого Жана-Мишеля, прогрессивен и очень хорошо образован. Он изо всех сил содействовал городской науке, и с пастором их связывали отношения самой горячей симпатии.

За спинами почетных гостей – коллеги пастора по научным обществам, Мишель Бонплан, Пьер-Самуэль Фромантен и Шарль-Мари Дессалин д'Орбиньи. Все уже немолодые, и все трое, по совпадению, – врачи. Они католики, поэтому скромно встали у самых дверей, но их вероисповедание для Жана-Мишеля не имело ровным счетом никакого значения. Если бы пастор не был сейчас так занят обрядом крещения собственного сына, обязательно подошел бы к ним и пригласил подойти поближе. Шесть лет назад он приехал в Ла-Рошель выздоравливать после тяжелого нервного расстройства, и единственное, что его по-настоящему радовало – то, что между ним и отцом теперь пролегло расстояние не в одну тысячу миль. Но здесь он очень скоро встретил людей, близких ему по духу. Именно Шарль-Мари д'Орбиньи подошел к Жану-Мишелю в тот весенний день в Энанде, когда молодой иностранец лазил по кустам со своим сачком и пробирками, и представился местным доктором и натуралистом. Они разговорились, и старый д'Орбиньи пригласил его на ближайшее заседание секции Академии, заявил, что им не хватает энтомологов, и если бы Жан-Мишель взялся разобрать коллекции, которые там лежат уже неизвестно сколько лет, они были бы ему благодарны. Ну а потом было знакомство с Луи-Бенжаменом Флерио де Бельвю, который его совершенно очаровал.

Именно благодаря Флерио Жан-Мишель примирился со своей судьбой и согласился стать пастором. Этот человек умел искренне и непротиворечиво сочетать в себе глубокую религиозность и страстную одержимость наукой. Он был основателем и бессменным председателем Библейского общества Нижней Шаранты, интересовался изучением Священного писания, не пропускал воскресных богослужений. И одновременно писал смелые, почти еретические для того времени вещи об огненном происхождении Земли. Когда он садился за письменный стол и становился только ученым, он забывал о том, что Бог отделил воду от суши, а ведь

именно на водном, осадочном происхождении земной коры строили свои теории его коллеги-геологи!

Пример Луи-Бенжамена Флерио давал надежду и самому Жану-Мишелю, что он тоже сможет что-то создать, выразить себя, не поддаться всепоглощающей рутине. Правда, Флерио – холостяк. Но другие-то женаты, отцы семейств, и все как-то справляются. А если приглядеться к самому Луи-Бенжамену, мало ли у него, свободного от семейных обязанностей, других занятий, которые не дают ему целиком сосредоточиться на научных исследованиях? Работа на благо департамента и города, заседания в бесчисленных комитетах, политика, благотворительность... Если бы Жан-Мишель был хотя бы вполовину так занят, как Флерио, у него хватало бы сил только на то, чтобы доползти вечером до своей кровати!

Жан-Мишель отвел взгляд от двух стариков со звездами Почетного Легиона и посмотрел на троицу молодых людей, которые стояли у окна и о чем-то весело переговаривались. Двое, Эдуард Эммери и Шарль Госсен, были протестантами, третий, Леопольд Делайян, – католиком, но это не мешало им быть лучшими друзьями. Их объединяла страстная любовь к книгам. Наверное, во всей Ла-Рошели никто не читал больше, чем они, и никто не мог так же молниеносно выложить целую кучу сведений по любому вопросу. Особенно Делайян – тот просто ходячий академический словарь! Он постарше своих товарищей и уже работает учителем в Королевском коллеже. Интересно, к тому времени, когда Фредерик пойдет в коллеж, будет ли Делайян еще в Ла-Рошели или вырвется из стен, кольцом окружающих город, и упорхнет за научной карьерой в Париж? Так, как упорхнул Альсид, младший сын старого Шарля-Мари Дессалина д'Орбины. Единственный человек, думая о котором, Жан-Мишель не мог удержаться от зависти.

Альсид д'Орбины – воплощение того, что в жизни пастора Декарта уже никогда не произойдет, хоть он даже вывернись наизнанку. Они ровесники, Жан-Мишель родился в марте, Альсид – в сентябре 1802-го. Но Жан-Мишель до конца своих дней прикован к семье и пасторской службе, а вот Альсид с рекомендательным письмом, которое Флерио написал своему парижскому другу, знаменитому Жоржу Кювье, совсем молодым человеком уехал в Париж, посещал Коллеж де Франс, был зачислен в штат Музея естественной истории и шесть лет назад отправился в грандиозную научную экспедицию в Южную Америку. Время от времени он пишет отцу, и каждое его письмо зачитывается на заседании секции естественных наук с огромным волнением и вниманием. Он сообщает, что собрал богатые коллекции животных и растений, окаменелостей и минералов, и что его наблюдений и выводов теперь хватит не на один научный мемуар. Иногда к письмам он прикладывает зарисовки найденных редкостей, и правда, очень искусные. Наверное, в конце этого года он уже вернется. Не описать, с каким волнением его здесь ждут, потому что хоть он теперь и парижанин, а в Ла-Рошель к отцу и «научному крестному» Флерио заглянет обязательно. Жан-Мишель ясно представлял, как Альсид будет рассказывать им о своих приключениях с видом бывалого путешественника, развлекать общество дорожными историями и эпатировать стариков смелыми гипотезами, которые пришли ему в голову под нездешними звездами, во время долгих переходов по растрескавшейся соленой земле пустыни Атакама или по зыбкой, чавкающей под ногами почве бразильских джунглей. И Южный крест, которого пастор Декарт никогда не увидит, будет словно бы все еще сиять над его головой...

Но вот последние приготовления были закончены. Крестный, доктор Дювоссель, выступил вперед. Шепот в баптистерии сразу утих. Доктор произнес небольшую речь о том, зачем они здесь собрались, поздравил счастливых родителей и пожелал крестнику вырасти добрым христианином и хорошим человеком. Сам обряд продолжался недолго. Пастор подошел к маленькому попитру, склонился над Библией, заранее открытой в нужном месте, и прочитал главу о крещении Христа в водах Иордана. Затем все обернулись к подготовленной купели. Фритци на глазах у всего общества закатали рукав и сунула туда локоть, чтобы проверить тем-

пературу воды, хотя погружать в нее младенца никто не собирался, пастор лишь троекратно обмакнул в купель собственные пальцы и оросил темя и лоб новорожденного.

– Крещу тебя, Фредерик, во имя Отца, Сына и Святого Духа...

Ребенок был спокоен. Его заранее накормили и перепеленали, и он не чувствовал никакой разницы между своей уютной детской и обществом матери, бабушки и няни, и этой комнатой, битком набитой незнакомыми людьми. Он открыл глаза неясной младенческой голубизны и проследил за руками отца с некоторым любопытством, но когда его лоб стал мокрым, недовольно сморщился. Амели потянулась к нему, однако покачнулась на нетвердых ногах, и Фридерика Шендельс тут же перехватила внука. Луи-Бенжамен Флерио встал со скамьи и предложил Амели сесть, и она опустилась на его место рядом с префектом Адмиро. Ее лицо покраснело, а на верхней губе выступил пот. Наверное, все же лучше ей было остаться дома, она еще слишком слаба, чтобы появляться на людях. «Зачем они пришли? – подумала она с внезапной неприязнью, глядя на черные фраки и орденские звезды. – Жан-Мишель, конечно, в восторге, но им-то зачем все это нужно? Кто мы для них, и что мы им теперь будем должны за этот знак внимания?»

Флерио, высокий плотный пожилой мужчина с темными, почти не тронутыми сединой волосами, тоже волнистыми, как у Жана-Мишеля, с крупным орлиным носом и глубокими складками, которые пролегли от ноздрей к тонкогубому, немного брюзгливо сжатому рту, вышел вперед и заговорил. У него был удивительно свежий для его возраста цвет лица – наверное, сказывались долгие годы занятий полевой геологией и восхождения на несколько горных пиков в Пиренеях и Альпах, кажется, даже на Монблан. Неприступное выражение его лица не вводило в заблуждение никого в Ла-Рошели – его доброта и отзывчивость были известны каждому. Амели проследила за взглядом Жана-Мишеля – тот смотрел на Флерио восторженными глазами. Ее снова передернуло от неприязни. Ей вспомнилось, что о нем рассказывал муж, когда только привез ее в Ла-Рошель. По пути на улицу Вильнев он провел ее по центральной части города, а на одной улице остановился и показал огромный особняк за высокими воротами: «Здесь живет замечательный человек, между прочим, наш единоведец». «Чем же он так замечателен?» – спросила Амели. Голос, против ее воли, прозвучал слишком ядовито, но она была измучена двухнедельным путешествием из Потсдама и считала, что для прогулки можно было бы найти время и потом. Ее муж не заметил сарказма. «Он всю жизнь без остатка посвятил науке и благу своего родного города. Людей, подобных ему, очень мало на свете. Я счастлив, что работаю с ним и могу помочь ему в некоторых делах». Ни о ком еще Жан-Мишель не говорил с такой теплотой. Он ждал реакции Амели, но она молчала, и тогда он сам добавил, какие это дела: натуралисты Ла-Рошели, объединившиеся вокруг секции естественных наук, хотят основать здесь музей естественной истории.

Молодая женщина поняла из его слов только одно: вопреки усилиям старого Мишеля Картена его сын во Франции не только не излечился от своей пагубной тяги к изучению природы, а погрузился во все это еще глубже. Она еще не знала, что этот музей станет ее главным соперником, но сразу поняла, что супружеская жизнь будет нелегкой. Муж не хотел с ней обсуждать, как они обставят дом, предоставил ей самой знакомиться с лавочниками и крайне неохотно назвал сумму своего жалованья. Зато его глаза всякий раз загорались, когда речь заходила о каком-то «кабинете Лафая», о коллекциях, собранных здешними натуралистами, и о Ботаническом саде, расположенном недалеко от их дома, рядом с бывшим коллежем иезуитов.⁵

⁵ Кабинет Лафая – «кабинет редкостей», коллекция минералов, морских раковин, растений, насекомых и чучел животных, собранная в XVIII веке ла-рошельским натуралистом Клеманом Лафаем и ставшая в XIX веке основой фондов Музея естественной истории.

Пока все внимательно слушали Флерио, Амели изучала пол под ногами, мысленно сплетая швы и трещины в плитках в замысловатый узор. Она едва слышала, что там вещает кумир Жана-Мишеля. А он тем временем хвалил пастора Декарта за его активную работу на ниве духовного и научного просвещения своих новых земляков и выражал надежду на то, что пастор сумеет воспитать у сына такой же пылкий ум и привить ему трудолюбие, которое отличает его самого. Закончил Флерио такими словами:

– Мне семьдесят два года, я могу лишь надеяться в самом лучшем случае увидеть, как этот мальчик станет достойным юношей, но не увижу, как он вырастет и прославит свое имя и город, в котором родился. Однако я верю, что настанет такой день, когда реформатская община Ла-Рошели с гордостью скажет: «Он наш брат, он один из нас». И я хотел бы думать, что даже если имя Фредерика Декарта однажды прогремит по Франции и за ее пределами, он все равно не забудет о своем происхождении и навсегда запомнит город, который вдохнул в него душу, и старых чудаков вроде нас с вами, господа, которые дали ему множество примеров, на что потратить время своей жизни. Но как бы ни были эти примеры поучительны и дороги нам самим, больше всего я желаю этому мальчику найти собственную дорогу. Пусть идет по ней вперед и ни на кого не оглядывается!

– Он будет гордиться, когда ему расскажут, что младенцем его подержал на руках сам Луи-Бенжамен Флерио де Бельвю, бывший депутат и уважаемый ученый, – веско заметил префект Адмиро. – Ну, мой друг, окажите ему такую честь, даже если вы никогда в жизни этого не делали.

Все заулыбались. Флерио заметно смутился, даже немного покраснел, но подставил руки, и Фритци передала ему ребенка. Она была растрогана. «Вы так хорошо и доходчиво это сказали, дорогой мсье, – заявила она тоном школьной учительницы, которая хвалит отличившегося ученика, – что даже я поняла в вашей речи все до последнего слова. А ведь я из Базеля, из немецкоязычного кантона Швейцарии, и французский язык мне не родной». «Мадам, я искренне тронут вашими словами», – сдержанно ответил Флерио. Даже достигнув преклонного возраста, он все еще робел в обществе женщин, особенно таких энергичных, как Фритци. Он поспешил вернуть бабушке младенца, который беспокойно зашевелился в его неловких руках.

«Господи, как же все это глупо», – вздохнула Амели.

Вдруг она с неприязнью подумала о том, что все они тут славят и превозносят отца, а о матери никто, кроме доктора Дювосселя, не вспомнил, хотя она чуть не умерла, рожая того, кого они уже объявили «своей будущей славой и гордостью». Подумала и о том, что все эти почтенные старцы и молодые умники заглянули в церковь ради крестин сына пастора Декарта. А всего год и восемь месяцев назад, когда крестили Мюриэль, вокруг купели стояли только гости, приехавшие из Потсдама: Мишель Картен, София-Вильгельмина, тогда еще здоровая, Райнер, тогда еще неженатый, Фритци и ее младший сын Карл-Антон, брат Амели, тогда еще не карбонарий. Шендельс-отец и тогда остался дома, потому что не мог надолго оставить аптеку. Казалось бы, в чем разница между теми и этими крестинами? Такая же, как между миром мужчин с их интересами, и замкнутым миром женщин с их бесконечными, презренными, утомительными заботами. Когда родилась Мюриэль, Жан-Мишель уже четыре года жил во Франции и целый год был пастором, дружил со своими натуралистами, его знала вся Ла-Рошель. Но кого интересуют чьи-то дочери, пока они не войдут в тот возраст, когда их можно будет купить или продать? После чего они снова и теперь уже навсегда станут никому не интересны...

Церемония закончилась. Люди стали расходиться. Перед тем как уйти, каждый подходил к пастору, жал ему руку и еще раз поздравлял, потом подходил к Амели, поздравлял и ее. Она отвечала, стараясь не выдать сердитых слез, которые были у нее уже совсем близко. Ей было стыдно, что она такая слабая и не может сама держать своего ребенка, неловко, что ее платье висит как мешок поверх нетуго зашнурованного корсета, что ей больно от молока, распираю-

щего грудь, и страшно, потому что она только что осознала всю глубину отчуждения между собой и Жаном-Мишелем.

– Вы очень бледная, мадам. – Наконец-то добрый голос, принадлежащий той, кому не все равно. Жюстина. Она не затаила обиды на Амели за то, что перед родами та вела себя с ней как последняя дрянь. – Вам опять нехорошо? Может быть, позвать доктора? Здесь их так много!

– Слишком даже много, – простонала Амели. – Никого не нужно, я привыкла, я уже не помню, когда мне в последний раз было хорошо. Что там делают остальные, Жюстина? До сих пор стоят у дверей и разговаривают? И моя мать тоже? Мне все это надоело. Я устала, у меня кружится голова, я хочу домой и лечь в постель. Только сначала принеси мне Фреда, я его покормлю, а ты пока сбегай и останови какой-нибудь экипаж. Пешком мне просто не дойти. И вот что, Жюстина, дома сделай мне, пожалуйста, большую чашку шоколада. Мне все равно, даже если мама опять скажет, что я себя слишком балую.

– Мадам Шендельс первая скажет, что шоколад вам сегодня просто необходим, – сказала Жюстина, которая успела проникнуться к Фритци симпатией – с ее появлением обязанностей у нее стало меньше, а похвалы за хорошо сделанную работу она стала получать чаще. – Мюриэль, детка, повернись, я застегну твоё пальто. Пойдем со мной, пусть твоя мамочка отдохнет. Знаете, мадам, наш Фред – удивительно спокойный ребенок, выдержал такие длинные крестины и ни разу не заплакал. Вы когда-нибудь такое видели?

Амели подумала, что сын, похоже, унаследовал бесчувственную натуру своего отца и бабушки Картена. Да и ее собственный отец ничем не лучше. Все мужчины, что ли, такие? Как бы сделать так, чтобы больше не рожать мальчиков? Одного ей вполне достаточно. И девочек тоже хватит, у нее ведь уже есть Мюриэль. Конечно, раз она замужем, ей все равно придется рожать столько, сколько захочет муж, – или остаться бесплодной смоковницей, если он больше не захочет вернуться в ее спальню... Она почувствовала, что щеки стыдливо потеплели: этого ей, пожалуй, не хотелось бы. Нужно как-нибудь потихоньку выяснить у матери, что делают замужние женщины, чтобы избежать прибавления, что ни год, нового младенца. Фритци наверняка это знает, она ведь уже двадцать четыре года заправляет аптекой, и у нее самой всего двое детей.

В опустевшем баптистерии становилось холодно. Беседы на крыльце храма затихли, гости переместилась по приглашению пастора на закрытую террасу ресторана «Флер де Лис» на другой стороне улицы, где уже было разлито по бокалам вино и поданы тартинки с оливковой и анчоусной пастой. После этого легкого угощения одни гости возвращались к себе на службу, другие расходились по домам. Амели одна сидела на скамье рядом с купелью и гадала, чьи шаги она услышит раньше – Жана-Мишеля, который наконец заметил ее отсутствие, матери или Жюстины. Двери хлопнули, раздался детский плач. Вот и у Фредерика лопнуло терпение. Проголодался или лежит мокрый, а скорее всего, то и другое сразу. Служанка бежала к ней, крепко прижимая к себе ребенка, завернутого в нарядное атласное одеяльце. Сейчас Амели его покормит, сейчас им обоим станет немного легче... Но потом еще предстоит вернуться домой, и Фритци с Жаном-Мишелем, скорее всего, сочтут экипаж неоправданным расточительством. Слишком близко, скажут они, что за глупости, ты бы еще наняла карету, чтобы поехать на соседнюю улицу. Это ведь не у них дрожат руки, подгибаются от слабости ноги и потеет под тугим полотняным чепцом голова!

Амели механически делала свою работу – качала младенца, меняла пеленки, растегивала корсаж своего когда-то самого нарядного платья, доставала раздувшуюся, перевитую синими жилками грудь, которая давно уже подтекала, придерживала черноволосую головку изголодавшегося маленького существа. Ей было невыносимо, мучительно жаль этого мальчика, ее сына, пока еще такого нежного и слабого, жаль себя, взрослую женщину, ни от чего не защищенную ни собственным авторитетом, ни любовью своего мужа, и особенно было жаль Мюриэль, обреченную, когда она вырастет, повторить путь своей матери.

– Экипаж стоит у входа в церковь, мадам. – В дверях баптистерия снова появилась Жюстина.

Амели была готова заплакать от счастья.

– Какая же ты умница! А где мой муж? Моя мать?

– Господин пастор ушел в особняк де ла Трамбле, где открыт кабинет редкостей – по его словам, совсем ненадолго, ему нужно или срочно взять у кого-то ключ от зала с коллекциями, или наоборот, передать кому-то этот ключ, я толком не поняла. Мадам Шендельс поинтересовалась, нужна ли ее помощь, и раз я сказала, что мы справимся, ушла домой пешком. По ее словам...

– «Ничто так не укрепляет здоровье, как прогулка быстрым шагом в холодную погоду», – сухо перебила ее Амели.

– Да, да! – Жюстина засмеялась.

– Пусть укрепляет, а свое и детей я предпочитаю побережь, – сказала мадам Декарт. Потом ей, конечно, предстоит много выслушать по этому поводу – но это будет ее первое собственное решение как матери семейства и хозяйки дома. Она способна сама о себе позаботиться, раз Жану-Мишелю даже в такой день коллекции важнее и ее, и детей. И пусть только муж потом посмеет что-то сказать насчет того, что она плохо ведет дом или неправильно воспитывает сына и дочь – сегодня он потерял это право.

Воинственно вздернув свой острый подбородок, Амели схватила за руку Мюриэль. Фредерик, досыта накормленный, опять крепко уснул, зато теперь девочка попискивала от голода.

– Скорее! Жюстина, скорее!

Но они опоздали. Служанка вскрикнула, когда увидела, что в остановленный ею экипаж садится кто-то из последних гостей.

– Доктор Фромантен, – пробормотала она, избегая смотреть на свою хозяйку. – Он живет в Лафоне, это очень далеко, за городом...

– Ну что ж, значит, пойдем пешком, – медленно проговорила жена пастора. На ее лице ясно читалось: «И за это вы мне тоже заплатите». Но даже юной Жюстине было еще яснее – этот день не наступит никогда.

Глава вторая РОДНОЙ ЯЗЫК

– Господин пастор! Как удачно, что я вас застал. Вы еще ничего не слышали?

Всегда неторопливого и рассудительного, несмотря на молодость, Леопольда Делайяна, главного библиотекаря Ла-Рошели, было не узнать. Он бежал из библиотеки и размахивал только что полученной газетой. Он готов был поделиться новостью хоть с первым встречным, но когда увидел, что ворота дома Жана-Мишеля Декарта приоткрыты, то решил, что пастор гораздо лучше, чем первый встречный, и без церемоний влетел во двор, едва не сбив с ног хозяина.

– Спокойно, спокойно, Леопольд. Что еще стряслось?

Жан-Мишель собирался на заседание совета консистории. Он отпрянул и потер ушибленное плечо: ему чувствительно досталось тяжелой дверью.

– В Париже совершено покушение на короля! – выпалил Делайян.

– И кто этот храбрец? – спросил Жан-Мишель. По его тону было непонятно, с иронией он говорит или всерьез.

– Некто Фиески, корсиканец. Он попытался убить Луи-Филиппа посредством адской машины, но вместо этого убил восемнадцать человек из его свиты, а король отделался царапинами!

– Адской машины? Вы серьезно?

– Увы. Я не ожидал, что подробности ее устройства появятся в правительственных газетах, никто ведь не хочет, чтобы у Фиески явились подражатели. Но в «Конститюсьонель» упоминают, что адская машина была сконструирована из двух десятков начиненных порохом ружейных стволов. Она взорвалась, когда король возвращался с военного парада. Сила взрыва был чудовищной! Тех, кто оказался слишком близко к эпицентру, буквально разметало по бульвару Тампль – фонтан крови, руки, ноги, головы в разные стороны... Ох, простите, господин пастор!

Делайян вздрогнул и осекся, когда заметил, что из-за куста форзиции за ним наблюдают две пары детских глаз. В следующую минуту дети, которые играли возле каретного сарая, подбежали к отцу. Четырехлетняя Мюриэль тянула за руку своего младшего брата. Оба они были точной копией своего отца – крутолобые мордашки, серые глаза удлинённого разреза, темные, слегка кудрявившиеся волосы, у мальчика аккуратно подстриженные, у девочки распущенные и перехваченные лентой. На лицах не было ни следа испуга – только безграничное любопытство. Правда, непонятно было, что вызвало это любопытство – сам ли Делайян, или то, что он сказал.

– Я не заметил, что Мюриэль и Фред тоже здесь. Клянусь, их не было, когда я только начал рассказывать, но я все равно виноват, что слишком увлекся, – библиотекарь не находил места от смущения.

– Фреду всего два с половиной года. Он ничего не понял, – успокоил Жан-Мишель. – Да и Мюриэль едва ли поняла.

– *Er ist dumm, absolut dumm!* – заявила Мюриэль, вскидывая глаза на Делайяна. Она отпустила Фредерика и засунула руки в карманы своего передника, расставив в стороны острые локотки, как будто ошетилившись: она, в отличие от брата, уже начала вытягиваться и утрачивать младенческую пухлость. – *Er sagt kein Wort bien qu'er ist schon nicht der Kleine!*

Леопольд развел руками и с улыбкой наклонился к девочке:

– Признаться, дорогая мадемуазель, из того, что вы сказали, я понял только слова «хотя» и «абсолютно». – И немного удивленно посмотрел на ее отца. – В немецком ваша дочь гораздо сильнее меня.

– Она назвала своего брата глупым и посетовала, что он не говорит ни слова, хотя он уже не такой уж маленький, – пастор слегка вздохнул. – Сама она, правда, болтает за двоих, но большого повода для радости я в этом не вижу.

В словах пастора явно слышалась горечь, но Делайян не понял, в чем ее причина. А тот уже снова перевел взгляд от детей на него и на газету в его руке.

– Рассказывайте дальше, Леопольд, только без кровавых подробностей. Кто такой этот Фиески? Вы сказали, он корсиканец. Конечно, бонапартист?

– Самое удивительное – нет. Правда, участвовал в итальянском походе, но пиетета к памяти Бонапарта не высказывает. В его заговор были вовлечены и бонапартисты, и республиканцы, однако сам он придерживается непонятных убеждений, а может, их у него вообще нет. Добрый католик, регулярно ходит к мессе, – так о нем пишут. Еще пишут, что у него чрезвычайно отталкивающая наружность, и многие считают, что она сама по себе выдает в нем преступника.

– Я все думаю о другом... – проговорил Жан-Мишель Декарт. Он рассеянно взял на руки Фредерика, и малыш немедленно запустил пальцы под его воротничок, где белела специальная вставка – коллар, знак его пасторского сана. – Вы все на свете знаете, Леопольд, и вы, конечно, уже посчитали, которое это по счету покушение на короля за пять лет его царствования. Четвертое или пятое, не так ли?

– Если начинать отсчет от заговора Нотр-Дам, то четвертое. А если от тайного общества, в котором был замешан юный Галуа, математик, то даже пятое. Люди всегда чем-то недовольны, хотя по сравнению с Карлом Десятым Луи-Филипп просто воплощение либерального монарха. Конечно, и на Карла покушались, и свергнут он был в результате революции, но...

– Люди, которые недовольны, не хотели либерального монарха, Леопольд. Они хотели республику. А заговор этот явно не последний, потому что на дальнейшие послабления сейчас рассчитывать не придется. Закроют самые смелые газеты, запретят собрания, словом, все как всегда...

– Здесь, в Ла-Рошели, все будет тихо и спокойно, господин пастор. Вы знаете, даже в пору революционного террора здесь скатилась с плеч всего одна голова – несчастного Дешезо, депутата, обвиненного в связях с жирондистами.

– А четыре сержанта? – спросил Жан-Мишель.⁶

– Я помню четырех сержантов, хотя был тогда мальчишкой, – проговорил Делайян. – Знаете, что самое удивительное? Наш город не назовешь прореспубликанским, мало кто симпатизирует карбонариям. Но вся Ла-Рошель единодушно сострадала этим молодым людям, заточенным в Фонарной башне. У них здесь были невесты, четыре местные девушки не побоялись объявить, что свяжут с заговорщиками свою судьбу. Когда их все-таки увезли в Париж и казнили, в Ла-Рошели их разве что не причислили к лику святых. Не удивительно, что и вы знаете об этой истории, хоть и не жили здесь в то время.

– Когда я приехал сюда, Фонарная башня уже называлась в народе башней Сержантов...

Дверь дома открылась, вышла Амели. Несмотря на августовскую жару, она была в длинном глухом платье с длинными рукавами. Однако высоко подколотые светлые волосы открывали белую точеную шею, и Леопольд Делайян невольно задержал на ней свой взгляд. Он

⁶ Четыре сержанта из Ла-Рошели – Жан-Франсуа Бори, Жан-Жозеф Помье, Шарль-Поль Губен и Мариус Рау, сержанты 45го линейного полка, революционеры, члены общества карбонариев, участники заговора против Людовика XVIII. В 1821 году планировали устроить государственный переворот в Париже, но полк за неблагонадежность был переброшен в Ла-Рошель, считавшуюся глухой провинцией. Заговорщики попытались и там поднять восстание, были захвачены, содержались под стражей в Фонарной башне. Затем увезены в Париж и после громкого судебного процесса казнены в 1822 году.

в который раз подумал, что если бы не всегдашняя угрюмость мадам Декарт, ее можно было бы даже назвать красивой женщиной.

– Мое почтение, мадам, – приподнял он шляпу.

– Добрый день, мсье, как поживаете? Как себя чувствует мадам Делайян?

Она равнодушно скользнула глазами по его взволнованному лицу и по ослабленному из-за жары узлу галстука. Амели недолюбливала этого интеллектуала за то, что он, по ее мнению, слишком любил выставлять напоказ свою эрудицию, но симпатизировала его жене, милой и скромной Маргерит. Делайян женился в прошлом году, сразу после назначения на пост главного библиотекаря Ла-Рошели. Теперь они с женой ждали первенца.

– У нее все хорошо, благодарю, мадам.

Амели подошла к мужу, забрала у него Фредерика и мягко подтолкнула в спину Мюриэль. «Дети! Быстро домой!» – скомандовала она по-немецки. Ей совсем не понравилось, что они стоят тут в обществе отца и одного из его друзей и слушают разговоры, неподобающие их возрасту.

– Я задерживаю вас, господин пастор? – спохватился Делайян. – Вы в церковь или в музей? Позвольте мне проводить вас.

– Пойдемте, мой друг, буду рад прогуляться с вами. Церковный совет без меня, конечно, не начнут, но надо поторапливаться, – сказал Жан-Мишель. Не оглянувшись на жену и детей, он открыл калитку. – Правда, я думаю, сегодня мы будем обсуждать не предстоящий ремонт нашего органа, не выходное пособие учителю воскресной школы, и не награды лучшим ученикам, а сугубо мирские дела.

– Мэр ведь тоже состоит в вашем совете? Он, разумеется, уже знает о покушении на монарха, и не сомневаюсь, что он возмущен до глубины души.

– И я не сомневаюсь, – буркнул Жан-Мишель.

Пьер-Симон Калло, друг пастора, мэр, который присутствовал два с половиной года назад на крестинах Фредерика, человек молодой, либеральный и очень просвещенный, год назад подал в отставку, не выдержав постоянных стычек то по одному, то по другому вопросу с префектом департамента. Новым мэром стал Жан-Жак Расто, также протестант, из богатой семьи судовладельцев, гораздо больший консерватор, чем Калло. Теперь между мэром и префектом Адмиро было полное взаимопонимание, и даже те, кто, как Жан-Мишель, любили прежнего мэра, нехотя признавали, что мир между двумя ветвями власти пошел на пользу городу.

– Понимаю, что вы, протестанты, как и мы, католики, не обязаны быть во всем единодушными. Но почему-то я все же удивлен, что мэр Калло и префект Адмиро не нашли общего языка, – признался Делайян.

– Это ведь риторический вопрос? Что до меня, к примеру, то я нахожу в своих взглядах на политику больше общего с вами, Леопольд, хоть вы и католик, чем со многими моими единоверцами, – ответил Жан-Мишель. – Я даже немного удивлен, сколько среди них монархистов и легитимистов, для которых и режим Луи-Филиппа слишком либеральный и грозит пошатнуть опоры общества.

– Многие наши протестанты таковы, – ответил библиотекарь. – Для них эти взгляды, можно сказать, общее место. Если бы ваши предки Декарты не уехали в разгар контрреформации, а остались здесь, вас бы тоже так воспитали. Монархизм благополучно унаследован городской верхушкой, состоящей на добрую половину из потомков гугенотов, с тех самых времен, когда Ла-Рошель выторговала у короля неслыханные вольности и платила за них абсолютной лояльностью сюзерену. Зато уж земельной аристократии здесь пожить было нечем, мы бы не потерпели – и не терпели! – всех этих спесивых дворянчиков с их замками...

Жан-Мишель промолчал. Он это и так знал.

– Как жарко! – шумно вздохнул Делайян. – Вам нравится здешний климат? Я люблю свой город, кроме нескольких недель в году, когда мечтаю оказаться где-нибудь в Гренландии. У моря легче дышать, но ведь нельзя вместо службы целый день провести на пляже или в купальне.

– Организуйте передвижную библиотеку прямо на пляже Конкюранс, мой друг, я уверен, что горожане выстроятся к вам в очередь, – улыбнулся пастор. – Только представьте: вы сидите в кресле под зонтиком с книгой в руках, или бродите по песку, а ваши ступни ласкают волны прибоя...

– Ах, да ну вас! – фыркнул Леопольд.

Какое-то время они молча шли по улице Вильнев. Пастор глядел по сторонам. Больше восьми лет он живет в Ла-Рошели, а строгие фасады домов из белого песчаника, шпили на крышах, решетчатые ставни от солнца, двери всех оттенков синего, от небесно-голубого до глубокого ультрамарина, умиляют его все так же, как в те дни, когда он увидел их впервые и понял, что здесь его настоящая родина. И жара, как сегодня, когда внутри городских стен чувствуешь себя будто в каменном мешке, и зимние дожди, и шквальный ветер, который иногда обрушивается на город, как в том начале января, когда родился Фредерик, – все это Жан-Мишель Декарт принимал с несвойственным ему смирением и даже можно сказать, еще сильнее любил за это Ла-Рошель. Потому что любить прекрасный старый город на берегу океана было бы слишком легко, а пастор, как любой влюбленный, жаждал совершить какой-нибудь подвиг или хотя бы принести неопровержимое доказательство своей преданности. Этим доказательством стала его безоговорочная лояльность Ла-Рошели. Все несовершенства этого города и его жителей, которые пастор обнаружил за прожитые годы, только открывали новые оттенки и обертона в той мелодии, которая заставляла петь его сердце. Со своей пасторской службой он примирился, на семейные неурядицы научился закрывать глаза и уши. Все это было неважно до тех пор, пока никто не покушался на главное – на его право жить здесь и чувствовать себя своим.

– Послушайте, господин пастор, – вдруг сказал Делайян, когда они почти дошли до улицы Сен-Мишель. – Только не сердитесь на меня. Мадам Декарт всегда говорит с детьми и при детях по-немецки, как сегодня?

– Кажется, да, – ответил застигнутый врасплох Жан-Мишель.

– Ваша жена тоскует по родному дому, ее можно понять. Но ведь у Мюриэль и Фредерика дом здесь, а не в Германии. Вы не задумывались о том, что пройдет несколько лет, и им придет время идти во французскую школу? Фредерик все равно заговорит, не волнуйтесь на этот счет. Я читал, что у детей, которые появились на свет в результате трудных родов, это иногда бывает. Вопрос – на каком языке он заговорит?

– Владеть вторым языком на уровне родного – совсем неплохо, мой друг. Я тоже так рос. Отец говорил со мной по-французски, а улица, школа и все остальное окружение – по-немецки.

– А ваша мать?

Лицо Жана-Мишеля затуманилось. Эта рана была еще слишком свежа. София-Вильгельмина умерла в конце февраля 1833 года, через месяц после того, как у Райнера и Адели родился сын, нареченный Эберхардом.

– Моя мать была одной из образованнейших женщин своего времени и в совершенстве владела несколькими языками, – ответил пастор. – Но, к сожалению, ни я, ни брат ее способностей не унаследовали. Латынь я, разумеется, знаю хорошо, экзамены по греческому и древнееврейскому сдал и до сих пор еще кое-что помню, а вот на изучение живых языков мне всегда было жаль времени. Поэтому я благодарен обстоятельствам за то, что у меня оказалось два родных языка вместо одного.

– Но много ли вы говорите со своими детьми по-французски? – не унимался Делайян, в котором проснулся школьный учитель. – И в парке они всегда гуляют только с матерью, и со своими ровесниками не встречаются...

– Я пытался убедить Амели доводами насчет школы, – нехотя ответил на это Жан-Мишель. – Она меня не слушает.

– Хорошо, что я не протестант, – засмеялся Делайян. – А своим единоверцам лучше в этом не признавайтесь. Кто же захочет слушать священника, мнение которого ни во что не ставит собственная жена? Ей-богу, в такие моменты я понимаю, для чего нашим святым отцам понадобился обет безбрачия.

Последний поворот, и они вышли на улицу Сен-Мишель. Пастор издали увидел на крыльце протестантского храма невысокого худощавого человека с развевающимися седыми волосами, в роговых круглых очках – аптекаря Поля-Анри Сеньетта, секретаря совета консистории. Он беспокойно вертел головой, поглядывая то налево, откуда должен был появиться пастор, то направо. Значит, еще не все собрались, и ждут не только его. Жан-Мишель подал руку Делайяну с сердечностью, не слишком искусно прикрывающей неловкость:

– Спасибо, что зашли ко мне, Леопольд.

– Спасибо, что выслушали. Ну, удачного заседания, и пусть ученики воскресной школы все-таки не останутся без наград, а церковь – без органа.

Но к ним уже бежал Поль-Анри Сеньетт, и за очками в его глазах плескался ужас пополам с любопытством:

– Господин пастор, господин библиотекарь, вы еще не знаете нашей главной новости? В Париже совершено покушение на короля!..

...Когда Фредерик Декарт учился в начальной школе, он впервые услышал фамилию Фиески от своего учителя и понял, что она ему откуда-то уже знакома. Более того, он смутно помнил, что каким-то образом там замешан и король. Позднее, в лицее Колиньи, он узнал точную дату покушения Джузеппе Фиески на Луи-Филиппа, 28 июля 1835 года, сопоставил с другими отрывочными картинками раннего детства и решил, что это и было его самое первое воспоминание.

Рядом с ним в плотном тумане, окутывающем первые годы жизни, смутно мерцало еще одно происшествие. Может быть, оно случилось тем же летом. Однажды жарким утром отец впервые показал Фредерику океан.

Они пришли всей семьей на пляж Конкюранс довольно рано, пока солнце не стало слишком припекать. В то время за стенами Ла-Рошели – «extra muros», как выражалось образованное сословие, кроме портов находились лишь два примечательных заведения, и одним как раз были общественные купальни «Мария-Тереза», основанные всего семь лет назад. Порой на удобных участках побережья открывались и другие купальни, но все они разорялись, а эти, «окрещенные» самой герцогиней Ангулемской Марией-Терезой, дочерью казненного короля Людовика Шестнадцатого, посетившей в 1826 году Ла-Рошель, пользовались неизменной популярностью, и пляж Конкюранс, в соответствии со своим названием, процветал. Над купальнями вдоль берега моря тянулась широкая, длинная, прямая как стрела аллея Май, обсаженная вязами и итальянской сосной. Здесь по праздникам играл оркестр, а в будние вечера гуляли парами и семьями. Внутри городских стен улицы были слишком узкими и не годились для массовых гуляний.

Совсем не подходила для них и набережная Старого порта, называемая в те годы набережной Горшечников, потому что на ней был крупнейший на всем западном побережье склад фарфоровой и фаянсовой посуды: французские, испанские, английские и голландские фабриканты отправляли сюда продукцию своих мануфактур, чтобы через порт Ла-Рошели торговать этим хрупким товаром со странами Востока и с Америкой. Набережная к тому же была вся изрыта землечерпальными машинами. Гавань то и дело затягивало илом и песком, ее приходилось чистить, и в жаркие дни над ней висела вонь донных отложений. Привычным был и запах рыбы. Рыболовные суда швартовались в самом сердце города, и тут же в огромном ангаре пойманную рыбу, выгруженную из трюмов, взвешивали, паковали в ящики, продавали оптовым

торговцам и развозили по лавкам и ресторанам или разделявали и пересыпали солью, чтобы она доехала до Ньюра, Пуатье и далее.

В общем, пастор Декарт со всеми своими чадами и домочадцами в этот день покинул городские стены, и никто бы его за это не осудил. Стоял один из лучших дней лета. Прилив был в самом разгаре, волны бурлили и лизали берег, продвигаясь все выше по песку. Мюриэль была здесь уже не в первый раз и нетерпеливо пританцовывала, ожидая, пока мать заплатит в кассу несколько сантимов за право воспользоваться раздевалкой. Амели с Мюриэль и Жюстиной ушли в ту тщательно огороженную часть купален, которая была предназначена для дам и девиц. Пастор сказал жене, что пока побудет с Фредериком на берегу, а когда она вернется, то и сам искупается.

Он поставил мальчика в метре от воды и сказал: «Посмотри-ка, Фред! Это наш Гасконский залив, наше Аквитанское море, часть большого океана».

Небо было пронзительно синим, а вода – мутной от песка. Неприятно пахло гнилыми водорослями. Под ногами попадались выброшенные на берег мелкие медузы и шкурки акулых яиц. Море шумело мерно и как будто успокаивающе, но оно не было спокойным, оно предупреждало о своей силе и не терпело непочтения. Маленький мальчик сморщил нос и задумался: заплакать? Убежать? Прильнуть к отцовским ногам? Он выбрал самое неожиданное решение и внезапно пошел вперед, навстречу быстро прибывающей воде. Первая волна окатила его по пояс, и он покачнулся, но устоял на ногах и даже сделал еще один шаг. Вторая волна оказалась очень высокой и сбила его с ног. Он успел увидеть стремительно опрокидывающееся небо, и мир наполнился соленой горечью, она хлынула в уши, в нос, в рот и в глаза и сделала их непроницаемыми для звуков и красок летнего дня. Только теперь задумавшийся о чем-то Жан-Мишель опомнился и подхватил сына под мышки. Очутившись в безопасности, мальчик наконец позволил себе разрыдаться на весь пляж. Пастор похлопывал его по спине, чтобы прошла икота, гладил, успокаивал, но ничего не помогало. Фредерик безутешно плакал не потому, что испугался воды, а потому, что он только что получил подтверждение реальности своего другого, еще более сильного страха. Оказывается, бездна, в которой жили его ночные кошмары, была совсем рядом. Он временами видел во сне вязкую темноту, которая обступала его и не давала дышать. В такие ночи он просыпался в слезах, и тогда ни Амели, ни Жюстина не могли его успокоить до самого рассвета. Хотя в остальном он был довольно спокойным ребенком и днем почти не доставлял хлопот своей матери.

Поздней осенью все того же 1835 года Фредерик начал говорить. Он не позволил долго умиляться своим первым словам, вскоре очаровательный детский лепет у него сменился длинными путаными предложениями. Их синтаксис был немецкий, три четверти слов тоже были немецкие, но по-французски он тоже кое-что понимал и вплетал в свою речь и французские слова. Теперь и Мюриэль не смогла бы назвать своего брата «глупым» – она ведь говорила точно так же, как он! За последний год, правда, французский у нее улучшился, потому что она полюбила болтать и секретничать с няней Жюстиной. Фредерика смущали их таинственные перешептывания, он подозревал, что иногда они смеются и над ним, и никогда не присоединялся к их компании. Он спокойно играл в детской один – то фребелевскими кубиками, которые бабушка Фритци в свое время привезла для Мюриэль, но сестра к ним даже не притрагивалась, то солдатиками, подарком дяди Райнера и тети Адели.

У Эберхарда в Потсдаме был такой же набор солдатиков. Когда мальчикам было по четыре с половиной года, Картены приехали всей семьей в Ла-Рошель, и Фредерик наконец познакомился со своим кузеном, родившимся в один год с ним, с разницей ровно в три недели. Тот был маленьким, щупленьким и очень задиристым. Фредерик сначала решил, что Эберхард ему совсем не нравится. И в этот момент дядя Райнер вытащил из чемодана две новенькие одинаковые коробки и вручил их сыну и племяннику. Они тут же подружились и стали практически неразлучны. Весь месяц, пока Эберхард и его родители гостили в доме

пастора Декарта, мальчики в любую свободную минуту устраивали сражения между своими армиями. В какой-то момент они додумались перенести игру на лестницу, которая вела в детские спальни, и соревнования в захвате господствующей высоты приводили их в восторг – ровно до тех пор, пока Эберхард не поскользнулся и не пересчитал головой ступеньки. Он так расшибся, что пришлось бежать в госпиталь Сен-Луи за доктором Дювосселем. Тетя Адель и дядя Райнер и не думали в чем-то винить Фредерика, для них не имело значения, кто из мальчиков первым предложил играть на лестнице. Но Амели в назидание все равно заперла его до обеда в «библиотеке» – так называлась маленькая комната с закрытыми на ключ книжными шкафами, столом и парой стульев, попасть в нее можно было только из кабинета пастора.

Когда через час Амели открыла дверь, то не сразу увидела сына. Стулья были пустые, портьера отдернута, подоконник пустой. А Фредерик растянулся прямо на полу, и перед ним лежал раскрытый большой атлас-определитель насекомых, который сегодня утром листали, да так и не убрали в шкаф на место потсдамские родственники. Мать обошла Фредерика на цыпочках, заглянула ему в лицо и не поверила своим глазам. Она точно знала, что Фред еще не умеет читать. Однако он не просто разглядывал картинки, он водил пальцем по строчкам и самозабвенно шевелил губами, как будто и в самом деле пытался разобрать латинские названия.

Пасторша не знала, то ли ей радоваться, что сын теперь уж точно не останется бессловесным дурачком, то ли огорчаться, что в ее доме на ее глазах подрастает еще одно несомненное продолжение рода Карتنенов и Сарториусов. Ох уж эта эгоистичная порода! Как и старшая дочь, сын всего лишь воспользовался ее телом, чтобы появиться на свет, и не взял ровным счетом ничего ни от Шендельсов, ни от Видмеров. Амели это по-настоящему беспокоило, она была уверена, что с такими задатками очень сложно добиться чего-то в жизни. Мюриэль и Фред непослушны, дерзки, своевольны, не имеют ни малейшего понятия о дисциплине. Только и слышишь от них: «то хочу, это не хочу», «то интересно, это не интересно». И если Мюриэль хотя бы веселая, открытая и временами ласковая девочка, то о Фредерике и этого не скажешь. Вечно думает о чем-то своем. Окликнешь его – молчит, смотрит стеклянными глазами, как будто изучает невидимую сторону вещей. Реагирует он только после того, как мать, повторив свой вопрос несколько раз, срывается на крик и обещает надрать ему уши или дать подзатыльник. Амели не признавалась мужу в том, что несколько раз доходило и до этого. Жан-Мишель пришел бы в ярость, если бы узнал, что жена применяет к детям телесные наказания: его мать София-Вильгельмина, разумеется, их с братом за все их детство даже пальцем не тронула, их дерзости она считала проявлением независимого характера и свободного ума. Даже свекор, Мишель Картен, убежденный в том, что дети должны знать твердую руку и беспрекословно подчиняться старшим, первым осудил бы невестку. Проклятые лицемеры. Амели не сомневалась, что свекровь специально сделала все, чтобы сыновья запомнили ее как идеал матери, а их жены обречены были всю жизнь проигрывать битву с ее тенью. И умерла она так рано тоже не без умысла, – чтобы у всех в памяти остались ее белоснежные крылья и нимб над головой!

Когда Фредерику исполнилось шесть, а Мюриэль скоро должно было исполниться восемь лет, от них ушла Жюстина. Летом к ней посватался молодой рыбак по имени Клод. Служанка несколько месяцев не могла решиться сказать окончательное «да», хоть ей уже исполнилось двадцать три года, еще немного, и ее стали бы считать засидевшейся. Рыбаки и матросы хоть и составляли заметную часть населения Ла-Рошели, считались не слишком подходящими женихами для девушек с каким-никаким положением и приданым, – слишком опасная у них была работа и непредсказуемая судьба. Жюстина вовсе не мечтала стоять с малыши детьми на берегу вместе с другими рыбацкими женами и вглядываться в морскую даль – вернется ли сегодня лодка с добычей, или рыбакам не удастся найти хороший косяк сардин и они в лучшем случае выйдут в море впустую. А то попадут в какую-нибудь переделку, и тем, кто на берегу, останется только молиться о том, чтобы снова увидеть своих мужей и отцов своих детей.

Девушка обратилась за советом к пастору Декарту и мадам Декарт, выходить ли ей за Клода. Амели считала, что неотесанный рыбак ей не пара, но оставила свое мнение при себе. В конце концов замуж выходить все равно придется, не за этого – так за другого. Жан-Мишель сказал: «Знаете, Жюстина, был такой древний грек по имени Платон, он сказал, что есть три категории людей – живые, мертвые и те, кто ходят в море. Вы понимаете, что я имею в виду?» Она быстро возразила: «По крайней мере, он тоже реформат», – как будто это был единственный аргумент в пользу замужества.

«Буду рад обвенчать вас и Клода. Или вы хотите венчаться в родной деревне?» – спросил Жан-Мишель. Служанка ответила, что и у нее в Сен-Ксандре, и в Маренне, откуда родом ее жених, протестантских семей очень мало. К тем, кто не может обойтись без церковного благословения, приезжает пастор из Рошфора, венчает и крестит в зале общественных собраний (Жан-Мишель понимающе кивнул, он тоже время от времени объезжал ближайшие к Ла-Рошели коммуны, читал проповеди и совершал обряды для горстки прихожан). Ее родители, например, вообще не венчались, обошлись записью в мэрии – это было при Наполеоне. Но если господина пастора не затруднит совершить обряд, она не станет, конечно, отказываться от свадьбы в храме на улице Сен-Мишель, и сошьет себе красивое платье, чтобы все было как полагается. Пастор сказал: «Назначьте дату, в ближайшее воскресенье я сделаю оглашение», – и ушел в кабинет. Амели обняла Жюстину, пожелала ей терпения – главной добродетели в супружестве, и поблагодарила за то, что она была рядом в самые трудные дни и помогала растить детей и исправлять их дурные задатки. Один Бог свидетель, как Амели дальше будет одна справляться, ведь от Жана-Мишеля помощи никакой. Жюстина молчала, не хотела показаться неблагодарной. Хотя именно так – не про детей, конечно, а про Жана-Мишеля – она и думала.

В порыве сентиментальности Амели открыла свой сундук, привезенный из Потсдама, достала две новые льняные простыни, отделанные кружевом, и полдюжины салфеток тонкого полотна, и вручила их Жюстине со словами: «Наш свадебный подарок». Уже через полчаса она об этом пожалела, но сделанного было не вернуть.

К свадьбе Жюстины Мюриэль захотела новое платье, и мадам Декарт ушила для нее свое конфирмационное, из белой тафты. Мюриэль была рослой девочкой, так что над переделкой не пришлось долго трудиться. Заодно мать решила сделать новый костюм и для Фредерика. В сундуке нашлись кюлоты и курточка из темно-лилового бархата, принадлежавшие когда-то ее младшему брату Карлу-Антону. Фредерик недоуменно сморщил нос при виде этих тряпок, выглядящих так, будто их тоже сшили из старого платья матери. Еще в три года его, конечно, одевали в белое платьице в оборках, похожее на то, которое носила маленькая Мюриэль, но теперь-то ему было шесть, он все это благополучно забыл и с гордостью носил длинные холщовые штаны, в которых можно было и бегать, и прыгать, и лазить, и строить песчаные замки, и ловить лягушек по канавам – в этом болотистом краю их было великое множество. Фредерик отказался надевать бархатный костюм, и только угроза мадам Декарт, что в таком случае они оба с Мюриэль будут сидеть дома взаперти, и слезы сестры, которая так мечтала пойти на свадьбу в новом платье, заставили его подчиниться.

После того как пастор совершил венчание и все поздравили молодоженов, Жюстина, разнаряженная, затянутая в корсет и надушенная, поцеловала мальчика в макушку и сказала: «Храни тебя Господь, мой дорогой, будь умницей, – а впрочем, что я говорю, ты у нас и так уже умница», – засмеялась и убежала к жениху. Они рука об руку вышли из церкви под нестройные звуки фисгармонии (органист господин Дельмас неожиданно захворал, и за музицирование пришлось взяться Бартеlemi Рансону-младшему, который хорошо играл на флейте, но за непривычным инструментом то и дело спотыкался). Мюриэль, гордая своей ролью маленькой подружки невесты, бросала в молодых пригоршни риса и пшена.

Жюстина и Клод пригласили семью пастора на свадебный ужин. Те обещали ненадолго заглянуть. Гости ушли, Жан-Мишель привел в порядок церковь, погасил свечи, убрал книги

и облачение, Амели взяла метлу и вымела за порог всю крупу вперемешку с мартовской грязью с башмаков гостей, бранясь на этот расточительный обычай. Затем они пешком пришли в Старый порт вместе с детьми. Молодые сняли верхний зал в какой-то рыбацкой харчевне. Скучно освещенная, душная комната с низким потолком была битком набита гостями. О Декартах все забыли, и когда они появились, им едва нашли место на скамье с краю длинного стола. От Жана-Мишеля тут же потребовали произнести здравицу. Пастор, слишком уставший, раздосадованный множеством проблем, которые поставил перед его семьей уход Жюстины, чувствовал себя в этой обстановке неуютно и красноречием не блеснул. Амели тоже здесь не нравилось и она мечтала поскорее уйти, но она понимала, что для вдоха разочарования, прокатившегося по рядам гостей, был повод: на свадьбе рыбака и служанки можно было обойтись и без цитат из античных и французских классиков!

Чтобы разрядить обстановку, мать велела Фреду подняться и поздравить молодых. Ему было уже все равно: на нем весь день, с самого утра были дурацкие короткие лиловые штаны, белая рубашка с рюшами, как будто позаимствованная из гардероба его сестры, и кургузая бархатная курточка, и он устал прятаться по углам, чтобы в церкви поменьше людей заметили, что он в этом наряде. Он послушно вскарабкался на скамью и повторил то, что сзади ему нашептывала мать: что они с Мюриэль поздравляют свою няню Жюстину, которая всегда была с ними такой доброй, желают ей счастья и много детей, и чтобы ее муж неизменно возвращался с хорошим уловом из каждого плавания. Звонкий детский голосок заставил гостей сначала улыбнуться, да только они не поняли ни слова, потому что Фредерик сказал это на немецком языке. Амели подсказывала по-немецки, потому что ее домашним языком так и остался немецкий, ну а Фредерик, не зная никакого другого языка, просто повторил слово в слово то, что она говорила. Улыбки так и застыли на лицах родителей Жюстины и Клода, их родственников из деревни, а также друзей молодожена – рыбаков и торговых рабочих. Только Жюстина не смутилась, потому что за шесть с половиной лет, проведенных в доме пастора Декарта она научилась понимать родной язык госпожи пасторши. Мальчик немного удивился тишине, наступившей в комнате. Но ведь просьбу матери он выполнил, ругать его не за что! И он сел на место и спокойно принялся за десерт.

– Виноват, господин пастор, – громко подал голос отец жениха. Гости сидели уже давно и успели как следует разогреться. – А только почему это ваш малец говорит не по-нашему?

– Он просто пошутил, – сказал Жан-Мишель, но все-таки немного растерялся.

– Странное время и место для шуток! – покачал головой другой крестьянин. – Вдруг там было что-то для нас обидное?

– Что вы, мсье, он только сказал, что поздравляет жениха и невесту.

– Так почему бы, – крикнула мать жениха, женщина с усталым, изборожденным морщинами лицом и неестественно черными волосами, – не сказать это по-людски?

Не успел Жан-Мишель ей ответить, как со своего места вскочил предыдущий крестьянин, недовольный тем, что его назвали «мсье». К нему-де никогда в жизни так не обращались, он не из таковских, и оскорбления не потерпит – он требует, чтобы господин пастор извинился и назвал его как подобает, «папаша Фирмен». Жена его, «мамаша Луизетт», как она тут же отрекомендовалась, закричала, что он не должен так говорить с господином пастором, уж как называли, так называли, потерпит, от него не убудет. И папаша Фирмен после недолгой супружеской перепалки уже готов был с ней согласиться, но тут поднялся какой-то старик, видимо, совершенно глухой и не понимающий, из-за чего все вокруг так расшумелись. Этот гость ни с того ни с сего заявил, что он солдат старой гвардии, был с императором в русском походе, переправлялся через Березину и столько всего повидал, что даже полковой капеллан был ему не указ, а не то что молодой сопляк, никогда не служивший в армии. Тут поднялся совсем уже страшный шум. Жюстина и Клод без особого успеха пытались призвать своих гостей к порядку.

Фредерик мало что понял из ругани гостей, но догадался, что именно он стал причиной общего недовольства. Напряжение этого дня наконец его переполнило, нервы у него сдали, он швырнул ложку, оттолкнул недоеденный «плавучий остров» (а было все-таки жаль, он в жизни не ел ничего вкуснее!) и бросился вон из комнаты. Мать и сестра выскочили следом. Жан-Мишель попытался было спасти свое достоинство и дать объяснения, но Жюстина сделала ему умоляющие глаза, и он тоже удалился. Все, на что хватило присутствия духа – это уйти шагом, а не бегом.

– А ну-ка объясни, почему ты валял дурака за столом? – голос пастора, когда они шли домой, был непривычно тих и грозен.

– Что я делал, папа? – переспросил Фредерик по-немецки.

– Ты что, не понимаешь, что значит «валять дурака»? Так я тебе объясню. Это как раз заниматься тем, что ты устроил перед всеми гостями и продолжаешь заниматься сейчас, когда я, твой отец, с тобой разговариваю!

Разгневанный пастор уже поднял было руку, чтобы дать сыну подзатыльник, но встретил взгляд жены и остановился.

– Фред, посмотри на меня.

Сын поднял на него глаза. Пастор сразу понял, что мальчик не шутит и не издевается.

– Ты знаешь, как называется страна, в которой мы живем? – спросил он по-немецки, стараясь держаться как можно спокойнее.

– Да, папа. Франция.

– И на каком языке здесь говорят?

– На французском.

– Вот именно! Во Франции все говорят по-французски, кроме иностранцев. А мы не иностранцы, я перешел во французское гражданство девять лет назад! Вы с Мюриэль здесь родились! Французский – твой родной язык! Почему, ради всего святого, ты не можешь на нем разговаривать?

– Не знаю, папа. Мы всегда говорим по-немецки.

– Кто это – мы?

– Я, мама и Мюриэль. Мы говорим на мамином языке.

– Вот как. На мамином. – Жан-Мишель метнул свирепый взгляд в сторону жены. – Но ведь Мюриэль говорит и по-французски, хоть и с ошибками! Она научилась! А ты почему не можешь?

– Меня научила Жюстина. И потом, папа, разве вы забыли – я ведь хожу в школу, а Фред еще нет, – напомнила девочка.

– И какие у тебя там отметки?

– Разные, – коротко ответила она.

О том, что весь этот год ей приходилось терпеть насмешки учительницы и передразнивания других девочек в классе, Мюриэль никогда не говорила матери – боялась, что та будет ее ругать, скажет, что она просто занимается недостаточно усердно. А теперь вот и отец в бешенстве. Лицо красное то ли от гнева, то ли от стыда, смотрит прямо на нее и Фреда сузившимися от злости глазами. Таким она его еще не видела. Раньше он скользил по ее лицу равнодушным взглядом, едва ее замечал...

– Фред, послушай меня, – Жан-Мишель несколько раз вдохнул и постарался взять себя в руки. – Скажи по-французски: «Наступила весна, ярко светит солнце, зеленеет трава».

– Der Frühling ist da...

– Да нет же!!! Мюриэль, не помогай. Я знаю, что ты знаешь. Пусть он скажет.

С огромным трудом, даже вспотев от напряжения, мальчик составил в уме эту фразу, сказал и все равно ошибся – он так и не вспомнил, как по-французски «трава».

– Кто, – страдальчески простонал отец, – кто тебя научил этой дикой смеси французского и бранденбургского?!

Фредерик догадался, что на этот вопрос лучше не отвечать.

– Если бы твои дети для тебя хоть что-то значили, ты бы не удивлялся! – сказала мужу Амели, стараясь не повышать голос, хотя ее лицо покрылось красными пятнами. – Смесь французского и бранденбургского, скажите на милость! Думаешь, наверное, что я должна обидеться? Как будто ты сам не бранденбуржец, что бы ты ни воображал на свой счет!

– Амели, потише, не обязательно устраивать скандал при детях и прохожих, – поморщился Жан-Мишель.

– Я, я устраиваю скандал? – возмутилась мадам Декарт, но голос все-таки понизила. – Это ты на седьмом году жизни сына внезапно открыл, что его никто не научил говорить по-французски! Кто, по-твоему, должен был это сделать? Ты считаешь себя французом, вот и позаботился бы о том, чтобы твои дети тоже стали французами. А я – бранденбурженка, я никогда этого не скрывала и не притворялась кем-то другим. И Фред, и Мюриэль отлично умеют говорить, читать и писать по-немецки. Фредерик хоть завтра поступит в начальную школу в Потсдаме и будет там лучшим учеником. Я свою часть работы выполнила!

Жан-Мишель побледнел.

– Никакого Потсдама, – сказал он. – Этого я не допущу.

– Посмотрим, – ответила Амели.

– Нам давно пора поговорить серьезно. Как уложишь детей – приходи в кабинет.

– Мне, знаешь ли, не до разговоров. Пока у нас нет постоянной помощницы, я сама таскаю уголь, ношу воду, растапливаю плиту, бегаю к булочнику, зеленщику и мяснику, готовлю завтрак, обед и ужин, мою посуду. Мадам Фабер придет только послезавтра, чтобы помочь мне убраться в доме. Я не собираюсь лишать себя сна ради того, чтобы заниматься склоками.

– Речь идет о будущем наших детей, как ты не можешь понять!

– Поздновато ты о нем вспомнил!

Они уже шли по улице Вильнев. Родители спорили яростно, но очень тихо, и лишь перо на шляпе матери раскачивалось вверх и вниз. Идущие сзади Мюриэль и Фредерик напрасно вытягивали шеи, они могли расслышать только отдельные слова. Однако то, что сказала мать про школу в Потсдаме, прозвучало отчетливо.

– Они говорят о тебе, Фред! – прошептала Мюриэль. – Ты поедешь учиться в Потсдам, потому что не умеешь говорить и читать по-французски.

– Если я буду жить у дяди Райнера и тети Адели, то я согласен, – быстро ответил мальчик.

– Как бы не так! – возразила сестра. – Тебя наверняка поселят у дедушки.

Уточнять, у какого из дедушек, не было необходимости, потому что дедушка Шендельс не упоминался отдельно от бабушки Фритци. При мысли о дедушке Мишеле Каргене, папином отце, Фредерик поежился, хотя он никогда его не видел. Он ни разу не был в Потсдаме, а дедушка после смерти бабушки Софии-Вильгельмины стал, говорят, почти затворником, и уже шесть лет его путь не сходил с колеи, наезженной между Потсдамом и Берлином, а еще точнее, между пунктами «дом», «церковь», «вокзал» и «университет».

– Почему у дедушки? – спросил Фредерик с надеждой, что старшая сестра сейчас засмеется и объявит, что пошутила.

– Потому что... потому что... – Мюриэль сделала загадочное лицо, пытаясь придумать на ходу причину поубедительнее. – У дедушки в Потсдаме огромный дом с целой кучей холодных пустых комнат, и он живет там один, а у дяди Райнера и тети Адели с Эберхардом совсем крошечный домик! Дедушка поселит тебя в зале с привидениями! Днем они прячутся в напольных часах, а ночью вылетают и воют, вот так: ууу! уууу!

Фредерик тяжело вздохнул. Он привык безоговорочно верить сестре. Если она говорит, что он поедет в Потсдам к дедушке Каргену, значит, так оно и будет... Мюриэль уже забыла

о том, что ему сказала, и отбежала в сторону – сорвать цветок под соседскими воротами. А Фредерик с этой минуты не мог думать ни о чем другом. Привидения его не так уж сильно пугали, хотя он не сомневался в их существовании. Сам дедушка был гораздо страшнее. О нем в доме Декартов редко разговаривали. Но всякий раз, когда Жан-Мишель получал письмо от своего отца, он становился молчаливым и мрачным, и в такие дни домашние старались не попадаться ему на глаза.

Амели проследила, чтобы дети вычистили зубы толченым мелом и как следует умылись, развела их по спальням, помогла Мюриэль снять красивое платье, а Фредерику – выпутаться из его ненавистного бархатного костюмчика. Расчесала длинные волосы дочери и заплела их на ночь в косу. Вспомнила, как Мюриэль порхала сегодня по церкви прелестным маленьким мотыльком, и впервые подумала о том, что девочка обещает вырасти красавицей. Ну что ж, хотя бы за это можно поблагодарить Картепов – за яркую внешность, которую они передали ее детям.

Как ни злилась на мужа Амели, как ни взвинчивала себя перед предстоящим разговором с Жаном-Мишелем один на один, сегодня она думала о похожести детей на их отца без досады. Сама она – одно лицо с господином Шендельсом, а он типичный остзейский немец, светловолосый, светлобровый, и глаза как у рыбы, светло-серые, почти бесцветные. Про мать и говорить нечего. Крупную, ширококостную Фритци даже в молодости едва ли кто-то назвал бы красивой. Амели бросила придирчивый взгляд на дочь. Она еще ребенок, и черты ее могут измениться с возрастом, но она очень миловидна и, скорее всего, будет становиться все лучше. И глаза у нее хоть и серые, зато не блеклые, а такого цвета, какое бывает у неба перед грозой. Лишь бы только она не унаследовала фамильный нос отца и дедушки Картепа! Фредерика это не испортит, как не портит Жана-Мишеля, а вот Мюриэль больше подошел бы прямой изящный носик самой Амели. Что ж, Господь до сих пор был милостив... Амели внезапно вспомнила, что Жан-Мишель в ту пору, когда они еще бывали нежны друг с другом, как-то сказал, что Мюриэль, сидящая на у нее на коленях, напоминает ему своей ангельской прелестью маленькую деву Марию на руках своей матери Анны – он видел эту миниатюру в старой французской Библии, хранящейся в епископате Бордо.

Мать пробормотала вечернюю молитву, пожелала Мюриэль спокойной ночи и заглянула к Фредерику. Ну вот, так она и знала! Спать он даже не думает. Стоит в ночной сорочке, босые ноги на полу, и листает при свече сказки Гофмана! Амели сама, конечно, виновата, что оставила в комнате сына зажженную свечу. Все-таки, несмотря на сознание своей полной правоты, она немного волновалась из-за предстоящего разговора с Жаном-Мишелем.

Как тогда, в библиотеке, Фредерик даже не поднял голову при звуке ее шагов. Амели остановилась и стояла, затаив дыхание, наблюдала за ним. Склонился над ночным столиком, одна рука под подбородком, другая тербит уголок страницы. Время от времени он поднимает то одну, то другую ступню и греет о собственные икры: в нетопленной спальне в начале марта довольно холодно... Сначала Амели показалось, что сын просто рассматривает картинку. Но нет, он и в самом деле полностью погрузился в книгу. «Щелкунчик и Мышиный король», судя по вклеенной гравюре, которую он только что перелистнул. Эта книга принадлежала самой Амели, но она Гофмана не читала, не любила, боялась всех этих порождений его больной фантазии. А вот Фред, как ни странно, даже перестал плакать во сне с тех пор как научился читать. Почему-то его совсем не пугают выдуманные миры, зыбкие, странные, рисующие вещи совсем не такими, какими их видят глаза при дневном свете...

Читать он начал в прошлом году, конечно, только по-немецки – французских детских книг в доме не было. Жан-Мишель ни о чем не позаботился, хотя его друг Шарль Госсен теперь владеет книжной лавкой на улице Августинцев. Отец даже ни разу не поинтересовался, что именно читает его единственный сын! А вот Амели, как только дети чуть-чуть подросли, попросила мать прислать из Потсдама ее собственных «Рейнеке-Лиса» Гете, «Ундину» де ла

Мотт Фуке, Гофмана, Вильгельма Гауфа. Фридерика Шендельс тут же это сделала и еще добавила несколько книг от себя. Страсть к потустороннему живет в душе каждого немца. Только одни благополучно выздоравливают после прививки, сделанной в детстве, и затем спокойно живут реальным и настоящим, а другие так и остаются verrückte, но кого постигнет какая судьба – заранее все равно не угадать...⁷

Вообще, конечно, то, чем сейчас был занят Фредерик, заслуживало наказания. Он уже не раз оставался утром без завтрака за то, что после подъема первым делом хватался за книгу вместо того, чтобы умываться, одеваться и делать гимнастику по Фребелю, и в результате опаздывал в столовую. Жан-Мишель, Амели, Мюриэль и Жюстина уже были за столом, перед ними стояли горячие булочки из пекарни на соседней улице Брав-Рондо, масло, жидкий кофе в кофейнике и молоко в молочнике, порой уже скисшее, потому что Амели ради экономии покупала его через день или через два. Фредерик сразу понимал при виде всей собравшейся семьи, что он опять пришел последним, и с надеждой смотрел на часы – а вдруг минутная стрелка еще не дошла до половины восьмого и его в этот раз не накажут? Но обычно он зря на это надеялся. Он заливался краской до ушей. Мюриэль отводила глаза – она любила младшего брата, и ей совсем не хотелось быть свидетельницей его унижения. Мать указывала на часы и спокойным, холодным тоном объявляла сыну, на сколько минут он опоздал. Если у него были криво застегнуты пуговицы или не завязаны шнурки башмаков, указывала и на это. После чего Амели выливали его чашку кофе обратно в кофейник, отодвигала булочки и масло и ставила перед ним стакан воды и засохшие обрезки хлеба, оставшиеся от вчерашнего ужина. Так бывало всегда. Ни один его проступок против заведенного в доме распорядка не оставался безнаказанным. Но сегодня Амели сама оставила свечу и не хотела быть несправедливой. Кроме того, ей до сих пор было стыдно, что после сегодняшнего выступления Фреда на свадьбе Жюстины отец сорвался и накричал на него, а она не заступилась, хотя мальчик уж точно не был виноват в том, что мать не учила его французскому.

– Фредерик!

Так почему-то повелось: он с рождения был для нее Фредериком или Фредом, а не Фрицем, хотя она говорила с ним по-немецки. В конце концов, старого Картена в Потсдаме тоже ведь все называли Мишелем, а не Михаэлем. А если пастор Декарт, обычно не замечающий немецкой речи, которая целыми днями звучала из уст Амели, вдруг услышал бы, что в его собственном доме его сына зовут Фрицем, вот тут скандал он бы закатил обязательно.

Мальчик обернулся и вздрогнул. Тяжелая книга чуть не выпала у него из рук.

– Простите, мама, я только...

Амели поняла, что сын ее боится, и почувствовала злость на себя. Почему она не может обращаться со своими детьми так, как Фритци воспитывала ее и Карла-Антоня? Мать тоже была строгой, но невозмутимой. К окрикам она прибегала крайне редко, добивалась послушания от детей лаской и спокойной твердостью и никогда не теряла чувства юмора. Из-за аптеки она редко приезжает в Ла-Рошель, но Фред и Мюриэль ее любят и часто вспоминают. А будут ли они вспоминать с любовью свою нервную, раздражительную мать, если она, скажем, заболит раком и рано умрет, как София-Вильгельмина Сарториус?

– Ложись спать, сынок, – очень спокойно, со всей выдержкой и лаской, на какую она была способна, сказала Амели. – Нельзя читать при таком слабом свете, зрение испортишь. У тебя впереди школа, коллеж, а а потом, не исключено, и университет, и еще много книг, которые ты сможешь прочесть, если сейчас наберешься терпения.

Фредерик еще боялся поверить, что мать действительно не сердится. Он вернулся в постель и натянул одеяло до подбородка.

– Замерз?

⁷ Сумасшедшими (нем.).

Он кивнул.

– А как же грелка? – Амели сунула руку в изножье кровати и вытащила сосуд из толстого стекла, заткнутый пробкой. В нем переливалась давно остывшая вода.

– Это ведь Жюстина всегда приносила теплую грелку мне и Мюриэль, – сказал Фредерик почему-то виновато. И он, и его сестра думали (хотя не делились друг с другом своими предположениями), что Жюстина ушла потому, что они были плохими, непослушными детьми. Будь они хорошими детьми, она, конечно, предпочла бы остаться с ними, чем выходить за этого Клода и жить с ним и его противными родственниками!

Мать едва не пообещала, что сейчас наберет горячей воды, но вспомнила, что они пришли со свадебного ужина и плита стоит холодная. Она выдвинула ящик комода с постельными принадлежностями и достала второе одеяло. Зимой дети укрывались двумя одеялами, но с наступлением календарной весны оно убиралось, и даже если конец марта стоял холодный, нужно было довольствоваться одним.

– Февраль ведь уже закончился! – Фредерик даже испугался, мать готова была нарушить одно из ее же самой учрежденных правил.

– Я думаю, что стоит вернуть два одеяла, пока погода не установится, – сказала она. – Спокойной ночи, малыш.

Она поцеловала его в лоб и уже готова была прочитать молитву, но тут он решился.

– Мама?

– Что, Фредерик?

– Я поеду учиться в школу в Потсдам и буду жить у дедушки Картена?

– Посмотрим. – Она даже не удивилась его осведомленности. – А ты хотел бы?

– Я бы хотел жить у дяди Райнера и тети Адели, – осмелел мальчик, – но если у них нельзя, то ладно, можно и у дедушки.

– Есть ведь еще дедушка и бабушка Шендельсы, – возразила мать. – И довольно на сегодня разговоров. Это будем решать мы с папой, а не ты. Спи, и смотри, не вздумай опоздать утром к завтраку.

Уже спускаясь по лестнице, она вспомнила, что не благословила сына. Торопливо зашептала молитву, стараясь настойчивостью искупить в глазах Бога свое небрежение. В руках у нее было платье Мюриэль с пятном от шоколада на лифе и с рукавами, испачканными соком одуванчика. Надо оставить его в прачечной и завтра подумать, чем вывести эти пятна... А тут еще Жан-Мишель со своими разговорами не ко времени. Он ее ждет, под дверями его комнаты на пороге лежит пятно света от лампы, сливочно-желтое, как здешняя галета. Фритци очень любит шарантские галеты. Надо бы купить пару фунтов, сложить в жестяную коробку и завтра же послать матери в Потсдам...

Жан-Мишель Декарт весь вечер расхаживал взад и вперед по кабинету. Только перед приходом жены он чуть-чуть успокоился и сел за стол. Отодвинул лист с тезисами будущей проповеди, план доклада, который он прочтет в следующую пятницу на заседании Библейского общества Ла-Рошели, опись коллекции жесткокрылых и полужесткокрылых насекомых, собранную одним любителем на юго-западе Нижней Шаранты, где нужно было проверить всю атрибуцию перед помещением в музей, и бережно положил сверху отчет Флерио де Бельвю префекту департамента о падении метеорита в Жонзаке. Этот документ он взял в префектуре на несколько дней, чтобы прочитать ради интереса. Метеорит упал давно, еще в 1819 году, то есть ровно двадцать лет назад, но свою коллекцию минералов, в которой были и осколки упавшего небесного тела, Флерио в начале года как раз подарил музею. Далекий от геологии пастор Декарт на том историческом заседании Общества естественной истории Нижней Шаранты с большим интересом разглядывал эти образцы, смотрел вместе с Флерио под микроскопом на кусочки оплавленной поверхности метеорита и выслушивал объяснения старшего товарища и наставника о том, что она состоит из спекшихся кристаллов и является таким же про-

дуктом действия огня, что и большинство земных минералов магматического происхождения. Префект Жан-Луи Адмиро позволил пастору взять домой отчет Флерио де Бельвю с величайшими предосторожностями, заклиная не потерять ни листочка – он представлял большую ценность.

Но даже этот документ не смог надолго удержать внимание пастора Декарта. Настроения заниматься делами у него не было, особенно после происшествия на свадебном ужине. Жан-Мишель взял в руки сегодняшнее «Эхо Ла-Рошели» и порадовался, когда вспомнил, что утром в суете забыл его прочитать. Но не успел он углубиться в хронику городских происшествий, как дверь скрипнула и на пороге появилась Амели в халате и мягких домашних туфлях.

– Ну, что ты хотел мне сказать? – сварливо заговорила она. – Давай скорее. Я только что уложила детей, а мне еще нужно приготовить им белье и одежду на завтра.

– Сядь, Амели. Это разговор не на пять минут.

Мадам Декарт нехотя прошла в кабинет и опустилась в глубокое кресло напротив рамки с тропической бабочкой.

– Я, конечно, тоже виноват, – сказал Жан-Мишель. – И наверное, не должен тебя упрекать за то, что ты воспитывала наших детей, как тебе одной казалось правильным. Но мы с тобой совершили ошибку, надо это признать и подумать, как ее исправить.

– Может быть, ты мне объяснишь, в чем моя ошибка? – тут же взвилась Амели.

– Ладно, можешь думать, что я совершил ошибку, если тебе так больше нравится. Только сути дела это не меняет. Фредерик должен учиться в Ла-Рошели. У меня всего полгода, чтобы подготовить его к начальной школе. Сам буду с ним заниматься, если не найду домашнего учителя, который не запросит слишком дорого. Но я тебе твердо обещаю, что ни Фред, ни Мюриэль не поедут в Потсдам.

– А почему бы Фредерику туда не поехать? Тебя послушать, так я собираюсь отправить сына не в просвещенный столичный европейский город, в котором – надеюсь, ты не забыл? – мы оба родились, а в преисподнюю к самому дьяволу!

– Потсдам не плох и не хорош, – ответил Жан-Мишель, – я даже допускаю, что школьное образование там поставлено лучше, чем во Франции. Но наши дети – французы, а не пруссаки, и будут учиться во французской школе, а потом Фредерик пойдет во французский лицей и, надеюсь, в университет. Я выбрал эту судьбу для себя и для своих будущих детей, когда решил, что навсегда останусь во Франции. И напомню, моя дорогая, что ты тоже согласилась на все это, ответив мне «да».

Амели почувствовала, что к горлу подступает тягучий ком. Это была не первая их с Жаном-Мишелем ссора, но раньше она всегда отмалчивалась. Ее недовольство выдавали только неподвижные губы и пришедшие в движение брови. В жонглировании аргументами Жан-Мишель все равно легко бы ее победил, а плакать перед ним было слишком унижительно. Она точно знала, что если не совладеет с собой и вместе со слезами у нее вырвется упрек «Ты меня не любишь!», муж не скажет прямо, что да, не любит, но и не станет это опровергать... Однако сегодня Амели чувствовала себя доведенной до черты. Разговор обещал быть тягостным, но вечная ложь и недомолвки были еще хуже.

– Ты меня обманул, – сказала она, стараясь если не быть, то хотя бы казаться такой же невозмутимой, как и Жан-Мишель. – Я думала, что выхожу замуж за пастора реформатского прихода Ла-Рошели, и готовилась стать тебе надежной и верной помощницей. А когда приехала сюда, оказалось, что я вышла за охотника за кузнечиками и жуками. За человека, который носит пасторский коллар, но при этом не стесняется прямо в нем прилюдно ползать на коленках в траве под кустами, будто какой-нибудь студент, и набивать карманы коробками с этой мерзостью! Ты даже не смог сдержать обещания, что ни одна шестиногая тварь не выползет из твоего кабинета. Помнишь, я собрала свои вещи после того, как обнаружила в постели огромного отвратительного жука, которого ты плохо усыпил!

– И что же тебя остановило? – он смотрел на нее с усталой иронией.

– Ты прекрасно знаешь, что. – Амели досадовала на себя, что вообще упомянула жуков – теперь разговор мог пойти не туда, куда нужно. – Мюриэль только что родилась.

– Я попросил у тебя прощения за тот случай, и это больше не повторилось. И если уж мы начали упрекать друг друга в небрежении обязанностями... Мадам Сеньетт недавно столкнулась со мной в мэрии и спросила, здоровы ли наши дети. Я немного удивился, но ответил, что да. Тогда она сказала, что Общество протестантских дам-благотворительниц обеспокоено, почему ты с января не появляешься на заседаниях, и они с мадам Растро не могут предположить, какая еще благовидная причина задерживает тебя дома.

– Ох уж эта мадам Сеньетт! Терпеть не могу эту злобную старую ведьму. Хуже только ее дочь Мари-Сюзанна, которая даже не скрывает, что считает меня ничтожеством и что ты совершил ужасную ошибку, женившись на мне.

– Амели!!!

– А что, неправда? Старая мадам Адмиро, супруга префекта, еще в первый год после нашей свадьбы проговорила, что вся община была уверена в твоём скором сватовстве к Мари-Сюзанне Сеньетт. Не удивительно, что я для них чужачка и они меня ненавидят, даже если сказать это вслух ни у кого не хватает смелости.

– Уверен, что ты заблуждаешься, Амели. Ты просто предубеждена и наслушалась сплетен.

– Я ведь пыталась быть полезной... – Голос Амели затрепетал. – Сразу после того как мы сюда приехали, помнишь, я испекла немецкое печенье трех сортов, хотела угостить дам из комитета. А они сказали, что между обедом и ужином ничего не едят, и к моему угощению даже не притронулись. Только мадам Рансон из любезности съела кусочек и похвалила. Все остальное так и пролежало до конца заседания, и мадам Адмиро, уходя, предложила мне отнести это в больницу для бедняков.

– Наверное, это было досадно, – согласился Жан-Мишель. – Но нужно понимать, что здесь у людей другие привычки и вкусы, не такие, как в Потсдаме. Спросила бы сначала у меня, стоит ли угощать этих дам печеньем, я бы тебе отсоветовал.

– А потом, когда я хотела устроить благотворительный музыкальный вечер в свой первый Сильвестр в Ла-Рошели? Меня никто не поддержал, даже мадам Рансон, хотя она добрее и приветливее остальных и немного говорит по-немецки! Мадам Адмиро – та вообще сказала, что музыки нам достаточно в церкви, а в день Сильвестра лучше устроить еще одну рождественскую распродажу всякого старья, чтобы заработать денег на содержание протестантского госпиталя.

– Этот город возник и расцвел благодаря торговле, считать деньги здесь умеют хорошо. Мадам Адмиро, мадам Рансон, мадам Растро – все они жены, сестры и дочери крупных судовладельцев, их с детства учили вести деловую переписку и разбираться в бухгалтерии. Они не так разносторонне образованы и, может быть, не так сведущи в музыке, литературе и изящных искусствах, как некоторые наши потсдамские знакомые. Но в практических вещах их суждениям стоит доверять. Я думал, ты это понимаешь, ты ведь тоже дочь коммерсанта.

Амели поморщилась. Жан-Мишель считал своего тестя, господина Шендельса, таким же коммерсантом, как здешние торговцы рыбой, солью и вином, но сама она рассматривала ремесло отца как гораздо более благородное, в ее глазах он был ближе к медицине, чем к торговле. И вообще ей надоела эта игра в адвоката дьявола.

– А ты ни разу меня не поддержал! – Она перешла в наступление. – Помнишь, однажды я вызвалась заменить органиста, когда господин Дельмас сломал себе руку, не на все время, а только пока он не вылечится. Но ты заявил, что не женское это дело – играть в церкви на органе или на фисгармонии! Сегодня я сама не стала предлагать свою помощь на свадьбе Жюстины, знала, что ты все равно откажешь. Хотя ты прекрасно знаешь, что в Потсдаме есть

женщины-органистки и что я умею играть. Даже твой отец позволял мне иногда музицировать в церкви вместо нашего органиста, и его не страшило, что за инструментом сидит молодая девушка. А ты вдруг испугался, что подумают твои прихожане, если гимны им будет играть твоя собственная жена!

– Но пойми же, Амели! – простонал Жан-Мишель. – Потсдам – это одно, а Ла-Рошель – это совсем другое. Здесь другие люди, другие обычаи. Порядки здесь отличаются от тех, к которым ты привыкла.

– Это очень странные порядки. Я думала, что знаю, каково это – быть женой пастора. Но оказалось, все, что я умею делать хорошо, никому здесь не нужно. И тебе в первую очередь! Я чувствую себя как актриса, которую зачем-то взяли в спектакль, а роли не дали, и уйти она не может, и ей остается только бессмысленно ходить по сцене, путаться под ногами и всем мешать!

– Ты считаешь, я в этом виноват?

– Ты-то, конечно, думаешь, что виновата я! Но если бы ты вел себя более по-пасторски, то и меня уважали бы гораздо больше.

– Мою мать уважали не потому, что ее муж вел себя по-пасторски, а потому что она поддерживала основанную ее отцом, профессором Сарториусом, школу для девочек в Потсдаме. Она помогала этой школе деньгами и личным участием почти до последнего дня, до того, как окончательно слегла! Если ты этого не понимаешь, значит, ты действительно не способна видеть дальше своего носа. Девять лет назад ты уехала из Потсдама и до сих пор носишь его на себе и в себе, до сих пор не можешь от него освободиться, как улитка от своей раковины!

– А ты не можешь и двух фраз произнести, чтобы не вспомнить или своих друзей-натуралистов, или свою драгоценную матушку!

– Амели, замолчи. Не говори такого, о чем потом пожалеешь.

Часы в гостиной пробили полночь. Мадам Декарт поднялась и пошла к двери.

– Тогда я иду спать. Но сначала я еще кое-что скажу тебе, Жан-Мишель. Иногда мне кажется, что мир перевернулся, и я одна стою на ногах, пока все остальные вокруг меня ходят на головах и делают вид, что так и надо, и еще потешаются надо мной – как это я смею оставаться на ногах, почему не переворачиваюсь вместе со всеми на голову! Меня учили думать, что семья, родина, религия – это самые главные вещи на свете, и я была уверена, когда вышла замуж, что и ты так думаешь. Но что я увидела в твоём окружении в Ла-Рошели? Семья? Тебе она только мешает, не дает полностью отдаться твоим мухам и жукам. Ты едва замечаешь и меня, и детей. Честнее было бы поступить так, как твой боготворимый Флерио де Бельвю, и вообще не жениться. Видишь, кое в чем я готова отдать ему должное. Родина? О, да, ты страстно любишь родину, любишь ее всей душой, – но почему-то не свою, а чужую! Если бы тебе сказали: «Забудь свой родной язык, вымарай из своей метрики настоящее место рождения, и тогда ты станешь настоящим французом», – ты бы это сделал без малейшего угрызения совести. Религия? Я еще никогда не встречала разом столько безбожников, которые пунктуально исполняют все обряды и предписания, а потом выходят из церкви и отправляются на заседание научного общества, чтобы и все вместе хором, и каждый по отдельности опровергать существование Бога. И когда я пытаюсь при тебе назвать все-таки белое – белым, а черное – черным, ты тут же меня обрываешь и говоришь: «Да нет же, глупая женщина, белое – это черное, а черное – это белое!» Я боюсь, Жан-Мишель, что скоро сойду с ума. Но я поклялась быть с тобой в болезни и здравии. Если бы клятва перед алтарем для меня ничего не значила, я бы давно уехала в Потсдам и стала помогать родителям в аптеке. От Карла-Антоня толку все равно нет.

Пастор смотрел на свою жену с возрастающим удивлением. Он вышел из-за стола и приблизился к Амели. Она раскраснелась, губы пересохли, пальцы беспокойно теребили кисти пояса ее шелкового халата.

– Амели...

– Жан-Мишель, мы еще никогда не были так откровенны. Заклинаю тебя, позволь Фредерику учиться в Потсдаме. У меня сердце разрывается от мысли, что я расстанусь с ним на несколько лет и буду видеть его только во время каникул, но я готова пойти на это ради его будущего. Не заставляй его ломать голову, когда он вырастет, над тем, француз он или немец.

– У него как раз не будет сомнений, кто он такой, если он останется в Ла-Рошели.

Пастор Декарт положил руки ей на плечи. Когда Амели не вела себя как образцовая немецкая женушка и не рвалась перебеливать его проповеди и греть его ночные туфли, она ему нравилась. От девушек, разбирающихся только в кулинарных рецептах и рукоделии и способных довести мужчину до нервного тика своей преданной заботой, он в свое время сбежал во Францию, и чуть не возненавидел Амели, когда понял, что ein gutes Mädchen все равно его настигла. Но порой, как сейчас, она с ним спорила и тогда становилась ему интересна. Он чувствовал в ней сильный характер и острый злой ум, в такие минуты она была способна зажечь искру между ними. Он сомкнул руки за ее спиной и стал осыпать поцелуями ее щеку, шею, мочку уха, сжатые в суровую складку губы. И Амели дрогнула, сдалась, ответила на его поцелуи. Начиная этот спор, она заранее понимала, что снова проиграет. Но хотя бы она сказала мужу то, что давно нужно было сказать. А дальше пусть исполнится воля Божья.⁸

– Свеча сейчас догорит... – прошептала мадам Декарт.

– Хватит, чтобы дойти до спальни, – тоже шепотом ответил Жан-Мишель.

Через полчаса они оторвались друг от друга, и усталая Амели подумала, как же ей не хочется вставать и возиться со спринцовкой. Ладно, может, ей повезет и ребенка и так не будет. А если будет, то это уже не станет настолько не ко времени, как ее беременность сыном, когда дочери едва исполнился год. Она смотрела на своего мужа, на его темный силуэт, который двигался между умывальником и гардеробной, с новой, непонятной тоской. Никогда еще ее чувства к нему не были такими смешанными: немного любви, немного жалости, немного презрения. И полное, лишенное всяких иллюзий понимание, что ей стоит надеяться только на себя и на Бога, больше не на кого. А пастор Декарт поспешил закрепить свое священное право поставить точку в сегодняшнем споре с женой и сказал из темноты спальни:

– Леопольд Делайян как раз на днях говорил мне о некоем Блондо, бывшем учителе французского языка и литературы из Королевского коллежа Ла-Рошели. Он безработный с рождественских каникул – по слухам, директор его уволил за то, что он злоупотреблял вином. Теперь Блондо ищет работу и уже согласен на половину прежнего жалованья. Раз ты тоже понимаешь, что Фредерик должен пойти в школу в Ла-Рошели, Леопольд сведет меня с Блондо. Надеюсь, мы договоримся, и я найму его частным учителем.

Амели молчала. Ее, конечно, уязвило, что у Жана-Мишеля все было заранее решено, и об ее согласии он говорил как о пустой дани вежливости. Но сейчас она угрюмо размышляла о том, сколько же пьет этот Блондо, если даже здесь, где выпитое за ужином вино измеряется не бокалами, а кувшинами, люди думают, что это все-таки слишком. И этот человек будет учить ее сына! Что бы на ее месте сказала или сделала мать? Так и не придумав достойный ответ от лица Фритци (где-то в глубине сознания ей показалось, что она слышит звон разбиваемой аптечной посуды), мадам Декарт отвернулась к стене и закрыла глаза. В пять часов придется вставать, растапливать кухонную плиту, греть воду. Скорей бы они нашли постоянную служанку, вот о чем надо думать, а не о пьянице-учителе!..

⁸ Хорошая девушка (нем.)

Глава третья

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

– Смотреть или на меня, или в книгу. Слушать, что я говорю. Открывать рот, только когда веляю. Кто отвлекается и болтает на уроке – тот получает линейкой по пальцам. Все понятно? – Господин Блондо покачнулся, глотнул из большой фляги и устало, хотя было еще утро, закрыл глаза. Но когда Фредерик молча ему кивнул, учитель приоткрыл правый глаз, так что вышло очень похоже на подмигивание. – А теперь приступим к занятию. Вот тебе «Басни» Лафонтена. Открывай первую. Что там у нас?

– «Ворона и Лисица», господин учитель.

– Мы разберем на ее примере сразу несколько грамматических явлений и выучим новые слова. Сначала я буду читать, а ты – следить. Потом твоя очередь. Пока ты читаешь в первый раз, можешь ошибаться, спотыкаться, врать напропалую, и я не назову тебя тупицей, а буду терпеливо поправлять. Можешь задавать мне любые вопросы, и я на них отвечу. На второй раз ты имеешь право сделать не больше пяти ошибок и задать не больше трех вопросов. Ну а на третий раз ты мне прочтешь эту басню идеально, и значение любого слова, на которое я тебе покажу указкой, объяснишь правильно. Господин пастор, переведите, чтобы он понял все до последней точки и запятой.

Жан-Мишель перевел.

– Понял? – Фредерик опять кивнул. – А если ты не справишься...

– Тогда линейкой?..

– За еще один самовольный выкрик с места – непременно.

– Простите, господин учитель.

– Так-то лучше. Нет, линейка только за нарушение дисциплины. За тупость у меня другое наказание. Если ты превысишь разрешенное количество ошибок на втором чтении и хотя бы раз ошибешься на третьем, то к оговоренной плате за урок прибавится еще несколько сантиметров – по сантиметру за каждый раз, когда ты оплошал. А со своим отцом потом разбирайтесь как знаете: лишит он тебя карманных денег или сэкономит на твоих походах в кондитерскую, мне наплевать. – И господин Блондо опять потянулся за флягой.

Пастор Декарт удивленно посмотрел на учителя, который проводил первый урок с его сыном, – не забыл ли он, случайно, что отец, о котором он так небрежно говорит в третьем лице, тоже сидит в этой комнате? Но на равнодушном испитом лице ничего не отразилось. Жан-Мишель решил пока не вмешиваться. Что бы ни придумал этот странный человек, главное, чтобы он знал свое дело. А педагогическую хватку Блондо, очевидно, имел. Жан-Мишель сам начал свою карьеру в Ла-Рошели с преподавания в воскресной школе и по вечерам давал неуспевающим лицеистам частные уроки латыни – и не так давно возобновил эти занятия, потому что на пасторское жалованье нельзя было оплачивать услуги домашнего учителя, даже совершенно опустившегося, такого как Блондо. Словом, пастор мог отличить плохого педагога, которым будут помыкать все кому не лень, от хорошего, того, кто крепко возьмет ребенка за руку и поведет туда, куда нужно.

Для Фредерика потянулись дни, наполненные правилами, спряжениями, пересказами, переписываниями текстов, длинными столбцами новых слов, которые нужно было учить наизусть к каждому занятию. Пастор Декарт условился с господином Блондо, что он будет заниматься с Фредериком по четыре часа каждый день, исключая воскресенья и праздники. Занятия не должны будут прерываться и на лето, разве что можно будет сделать их пореже – не каждый день, а, скажем, по понедельникам и четвергам.

– Не знаю, господин пастор, – скептически хмыкнул господин Блондо, – хватит ли этого времени, чтобы подготовить вашего сына к школе. Он не знает почти ничего, и произношение у него такое, что я вам обещаю – в школе ему придется сидеть за последней партой вместе с черномазыми.

Жан-Мишель пока не имел достаточно аргументов для спора, хотя был уверен, что Блондо преувеличивает, чтобы продлить свой контракт. Да, Фредерик пока еще неважно говорит по-французски, но он учится и старается, и его прогресс очевиден – чего не скажешь о черных и цветных ребятах из портового квартала, чьи семьи приехали с Антильских островов и обосновались в Ла-Рошели уже не в первом поколении, да так с тех пор и живут в невежестве и нищете. Кого-то из них, бывших рабов, привезли во Францию хозяева, а кто-то, особенно цветные, в начале века сами бежали с острова Сан-Доминго, спасаясь от революции и развязанной чернокожими резни. Жан-Мишель знал, что еще каких-то сорок-пятьдесят лет назад здешним купцам принадлежали крупные плантации сахарного тростника на Сан-Доминго, и его это удручало, это была та страница истории Ла-Рошели, которую он предпочел бы, не глядя, перелистнуть. Он был воспитан матерью и дедом, профессором Сарториусом, в отвращении к рабству, и ему было неприятно думать, что деды и прадеды многих его здешних друзей тоже владели рабами. Хорошо, что его собственные французские предки бежали отсюда еще до начала масштабной работорговли, да и в любом случае были слишком небогаты для этого.⁹

– Доживем до лета – посмотрим, – дипломатично ответил пастор господину Блондо, возвращаясь из прошлого в настоящее.

Тот смерил своего нанимателя живым и цепким взглядом, неожиданным для спившегося человека.

– Хотите быстрее – работайте сами.

– Как это понимать? Вы отказываетесь от уроков?

– Нет. – Господин Блондо явно получал удовольствие от напряжения, в котором он держал своего собеседника. – Но каждый день в тот самый час, когда я заканчиваю делать свое дело, вы, господин пастор, должны начинать делать свое. Верните ребенку родной язык, черт вас всех побери! Помогите мне его из него вытащить! Я один всю Францию ему не заменю. Выпустите его из этой комнаты с закрытыми ставнями! Вам не приходило в голову, что уличные игры с приятелями дадут ему не меньше, чем Лафонтен? – Учитель скрестил руки на груди, шумно почесал у себя под мышками. И добавил, наслаждаясь озадаченным видом пастора: – А может быть, и больше.

Амели с первого взгляда возненавидела Блондо. Она, конечно, сознавала, что больше половины этой неприязни предназначается Жану-Мишелю, и она не адресует свои нехристианские чувства мужу напрямую только ради спокойствия семейного очага. Но даже если бы Блондо оказался прилично одетым, вежливым и обходительным господином, он все равно едва ли добился бы у нее симпатии. А этот субъект был просто невыносим. Когда он появлялся в доме, Амели отворачивалась и деликатно прикрывала нос оборкой чепца, однако ее чуткие ноздри все равно обоняли запах давно не стиранной одежды и кислой отрыжки вчерашней выпивкой. За вечно мокрые и грязные следы от его башмаков, которые тянулись из прихожей в кабинет пастора и в библиотеку, превращенную в классную комнату, мадам Декарт хотелось стукнуть его чем-нибудь тяжелым. Но больше всего учитель был ей неприятен своим апломбом. Даже совершенно опустившийся, грязный, вечно пьяный или с похмелья, он отказывался вести себя как человек, которому сделали великое одолжение, и держался в доме

⁹ Речь идет о событиях, связанных с восстанием чернокожего населения во французской колонии на Сан-Доминго и с провозглашением в 1804 году независимой республики Гаити. Революция сопровождалась массовой резней белого и цветного населения.

Декартов прямо-таки с королевской надменностью, позволяя себе насмеяться над хозяйкой, быть запанибрата с хозяином и штрафовать своего ученика за немецкие слова. Пасторша терпела его только потому, что жалование он запросил по сравнению с другими частными учителями довольно скромное, меньше, во всяком случае, чем брал за свои уроки латыни сам Жан-Мишель. Все-таки понимает, что в другие приличные дома его не пустили бы дальше передней!

Жан-Мишель утверждал, что господин Блондо прекрасный педагог, и что платить за ошибки Фредерика ему теперь приходится все реже и меньше – позавчера он добавил к обычной плате за урок всего десяток сантимов, а ведь мальчик весь урок занимался тем, что пересказывал учителю по-французски свои любимые немецкие сказки. И сделал так мало ошибок! «За тебя на его месте мне пришлось бы выложить целый луидор», – полушутя-полусерьезно упрекнул он жену. Амели не поддержала разговор. Она предпочитала делать вид, что никакого Блондо в жизни их семьи не существует.

Когда у Фредерика заканчивался урок французского, из школы приходила Мюриэль. Блондо уходил, дети с матерью, если сам Жан-Мишель в это время был в церкви или в музее, садились за обед, а потом наступало время немецкого языка. Роль классной комнаты на этот раз выполняла гостиная, Амели брезговала заходить в библиотеку после господина Блондо. И еще два часа мать занималась с детьми, точнее, они по очереди читали книги, которые регулярно появлялись в доме благодаря заботам бабушки Фритци. Мюриэль со временем разлюбила эти занятия, ее увлекла французская школа, ей хотелось играть с новыми подругами, а не сидеть над скучными книжками и перечислять матери формы немецких неправильных глаголов. Кроме как с матерью, ей не с кем было говорить по-немецки, и смысла в этой унылой зубрежке она больше не видела. Амели говорила, что в августе, когда отцу дадут отпуск и на полтора месяца его заменит другой пастор, они все вместе поедут в Потсдам и навестят всех родственников, и Шендельсов, и Картенов. И что с того? Дедушка Мишель, дядя Райнер, тетя Адель, бабушка Фритци – все они могут говорить и по-французски, а что до дедушки Фридриха и дяди Карла-Антоня, с которыми девочка не была знакома, то судя по тому, что до сих пор они никак не проявили себя в ее жизни, может, с ними и разговаривать не обязательно!

Особенно трудно стало удерживать детей в «классной комнате» с приходом настоящей весны. Даже Фредерик, вообще-то на редкость прилежный мальчик, что нехотя признавал даже его наставник, все больше витал в облаках. За окнами носились стрижи, горланили чайки, ветер приносил сюда, на север города, в квартал коллежа, школ и монашеских конгрегаций, запах моря и звал к настоящей жизни, о которой невозможно было узнать из сказок Гофмана. И Мюриэль, и Фред гораздо охотнее побегали бы по высокой и узкой крепостной стене в Старом порту, поглазели бы на иностранные корабли, поиграли на пляже!

Мать пыталась быть строгой, но и она была бессильна перед солнцем и морем, перед свободой, которую обещали совсем уже близкие школьные каникулы. Однако не в ее характере было сдаваться так быстро. Она заканчивала урок немецкого языка и открывала крышку своего нового маленького клавесина. Это был пасхальный подарок Жана-Мишеля. Пастор не говорил прямо, что купил клавесин в знак извинения перед женой за то, что нанял Блондо, подразумевалось, что инструмент необходим Амели, чтобы учить детей музыке. Мюриэль чуть-чуть оживлялась. Фредерик, наоборот, еще больше сникал. После мучительного часа, посвященного гаммам и экзерсисам, мать раскрывала ноты песенного цикла Карла Лёве на стихи Фридриха Рюккерта и пела под собственный аккомпанемент:

И песня о девушке, которая не может спокойно усидеть дома за прялкой и просит «милую мать» отпустить ее из тесной комнаты на волю, потому что там, на улице, бурлит и сияет весна, наконец-то заставляла Амели догадаться, что ее дети чувствуют то же самое. Она со вздохом закрывала клавесин и звонила в колокольчик. Новая служанка, мадам Робине, вдова лет шестидесяти пяти, являлась, шаркая ногами, выслушивала распоряжения хозяйки и через пол-

часа накрывала в столовой полдник для детей, где, правда, кроме жидкого кофе и оставшегося от завтрака и обеда сухого хлеба больше ничего не было. Мюриэль и Фредерик были рады и этому. Главное, что после полдника мать отправляла их переодеться в приличную одежду, сама надевала шляпку и летнее пальто в талию, и они выходили на улицу Вильнев.

– Куда пойдем – вверх, вниз или направо? – спрашивала Амели.

«Вверх» – означало к Ботаническому саду и особняку де ла Трамбле, больше известному как Губернаторский отель. До революции в этом большом красивом доме располагалась резиденция королевского наместника, ведавшего делами Шаранты. В Ботаническом саду было красиво, но заняться там было особо нечем – детям ни поиграть, ни побегать, да еще в любой момент можно было столкнуться с кем-нибудь из друзей Жана-Мишеля или с ним самим. С тех пор как в одном крыле особняка Трамбле открыли музей естественной истории и перенесли туда «кабинет редкостей» Лафая и остальные коллекции из мэрии, а в другом разместили библиотеку, все натуралисты города ходили туда как на службу. Мадам Декарт была не рада их видеть, хотя они всегда раскланивались с ней и обменивались вежливым «как поживаете?», а старый доктор Шарль-Мари Дессалин д’Орбиньи, отец большого семейства и дедушка многочисленных внуков, каждый раз ласково трепал по голове Фреда и говорил милые шуточные комплименты Мюриэль. А потом он лез в карман сюртука и доставал пригоршню теплых, прилипших к своим оберткам сладко-соленых карамелек. Амели не могла запретить ему одаривать детей конфетами, но могла запретить детям их брать, так что мальчик и девочка старательно отводили глаза и скучными голосами отвечали: «Спасибо, мсье, мы не голодны». Доктор качал головой и уходил, думая про себя, что протестанты, даже лучшие из них, все-таки странные люди.

Сладости в доме пастора Декарта позволялись детям только по праздникам. Амели считала, что есть их чаще, во-первых, неблагочестиво (разве чревоугодие не является теми воротами, через которые в этот мир незаметнее и проще всего проникает дьявол?), а во-вторых, вредно для детских зубов. Ей не хотелось обижать доктора, она помнила то, что ей рассказал Жан-Мишель – как во время страшной холеры 1832 года Шарль-Мари д’Орбиньи в собственном доме открыл лазарет для холерных больных. Вместе с женой Марианной они принимали и выхаживали всех, от кого отказались врачи и сестры в муниципальных и частных больницах. И потом не трезвонили об этом направо и налево – о самоотверженности супругов д’Орбиньи стало известно только несколько лет спустя, когда один из их пациентов написал об этом в газету «Эхо Ла-Рошели». Амели соглашалась, что уважением всего города старый врач пользуется по праву. Но это не повод позволять, чтобы в воспитание ее детей вмешивались католики!

К счастью, Фред и Мюриэль редко предлагали идти «вверх», предпочитали пути, которые вели «вниз» или «направо». Тогда они либо коротким путем спускались к набережной Мобек, а оттуда уже направлялись к башням и укреплениям, либо их дорога на пляж Конкюранс пролегла по нарядным улицам Амло – с роскошным особняком Бернонов, Мерсье – с аркадами, под которыми были не страшны ни дождь, ни ветер, ни летний зной, Домпьер – с «отелем Флерио», или, чаще всего, Августинцев – с католическим монастырем, старинной аптекой и прекрасным, как итальянские маленькие палаццо, домом первого в истории Ла-Рошели мэра-протестанта Франсуа Понтара, называемым еще «домом Генриха Второго». Затем по улице Пале, Дворцовой, названной так в честь Дворца Правосудия, Амели с детьми спускалась к улице Шеф-де-Виль, пересекала ее и попадала на площадь за аркой Часовой башни, не очень большую, но изящную и соразмерную, с пышными балконами в стиле ла-рошельского Ренессанса. Встреченные знакомые раскланивались с мадам Декарт и улыбались ее детям. Она, почти всегда занятая своими мыслями, не сразу замечала приветствия и порой отвечала на поклон слишком поздно, когда прохожий уже отворачивался и шел своей дорогой. Так что репутация жен-

щины холодной и надменной, которая за эти годы приклеилась к мадам Декарт, была все-таки ею не очень заслужена.

Если они шли по улице Домпьер, особняк Луи-Бенжамена Флерио де Бельвю Амели старалась миновать как можно быстрее, хотя дети вечно засыпали ее вопросами об этом доме за высокими воротами и об его хозяине. Их отец, конечно, заронил в них этот интерес, больше некому. Амели саму интриговала личность господина Флерио де Бельвю, хоть она и не любила его и почему-то считала, что это он настроил против нее Жана-Мишеля. Никаких определенных оснований так думать у нее не было. Просто ей казалось, что человек, полностью посвятивший себя науке, должен не одобрять тех молодых друзей и соратников, которые понапрасну расточают себя на жен и детей. Жан-Мишель всегда так им восхищался, так его превозносил! Амели подозревала, что неспроста именно его, а не милейшего старого доктора Шарля-Мари д'Орбиньи он считал образцом для подражания.

Иногда Амели силилась представить, как Флерио де Бельвю столько лет живет один в этих огромных гулких комнатах. Его мать умерла больше тридцати лет назад, отец и старший брат – еще раньше. Слуги не считаются, это не семья. Изредка к нему приезжает из Парижа племянник, отставной морской офицер, с женой и сыном, но надолго младшие Флерио здесь не задерживаются – чего они позабыли в этой глуши? Других родственников у него, кажется, не осталось. Очевидно, племянник и унаследует огромное состояние, которое заработал на торговле сахаром с острова Сан-Доминго и солью с острова Ре отец господина Флерио, ловкий авантюрист, удачливый торговец и плантатор. Точнее, унаследует то, что останется от этого состояния. Амели знала от Жана-Мишеля, что Луи-Бенжамен Флерио де Бельвю считает богатство своей семьи нажитым не слишком праведным путем и на себя его почти не тратит, только на свои научные дела. Зато щедро отчисляет деньги на музей, госпиталь, школу, на протестантскую церковь, к которой сам принадлежит, на академию и театр, на помощь бедным, на благоустройство улиц и набережных... Амели не догадывалась, что Жан-Мишель потому и уважал его больше других – просто с ним он чувствовал более тесное родство за эту его деятельную любовь к Ла-Рошели.

Размышляя о судьбе Флерио, мадам Декарт невольно вспоминала и своего свекра Мишеля Картена, совсем, по слухам, замуравившего себя в старом доме на Кенигин-Луизенштрассе в Потсдаме. Раз в неделю ездит в Берлин и читает лекции по реформатской теологии в университете, раз в неделю служит в церкви, а все свободное время за закрытыми дверями пишет трактат «О христианском воспитании». Вспомнила она его и на этот раз. Странно, конечно, что она сравнивает этих людей. Общего между ними только то, что они французы и реформаты. Флерио лет на двадцать старше профессора Картена, а главное, он уж точно не затворник. Жан-Мишель говорил, что его почти невозможно застать дома. То он заседает в мэрии, то в префектуре, то работает в одном из многочисленных научных обществ (два из них он сам создал и возглавил). Если же его ничего другое не отвлекает, то уезжает на маленький остров Экс – нашел там какой-то окаменелый подводный лес у побережья, и очевидцы говорят, при низком отливе можно даже подойти к нему и достать из воды то, что тысячи лет назад было стволами и ветками.

Пастор Декарт совсем недавно рассказал об этом лесе Фреду и Мюриэль. У них заблестели глаза. «Папа, а можно нам его увидеть? Папа, а можно нам его потрогать?» Жан-Мишель засмеялся и сказал, что если они представляют себе настоящий лес, с листьями или хвоей, которые шевелит морское течение, а между ветвей вместо птиц мелькают большие и маленькие рыбки, то они будут разочарованы, потому что ископаемые деревья, пролежавшие столько лет в морской воде, стали похожи просто на бурые камни. Отец назвал эти камни непонятными и скучными словами: «бурый уголь», «кремнезем». Но дети все равно не унимались, и отец пообещал, что летом, перед тем как ехать в Потсдам, он возьмет их на остров Экс, в настоящую научную экспедицию.

– Добрый день, мадам. Как вы поживаете?

Амели вздрогнула. Перед ней стоял сам Флерио. Вышел из ворот своего дома, как раз когда они проходили по улице Домпьер. Мадам Декарт даже не узнала его в первую секунду, потому что привыкла видеть его в черном фраке с орденской звездой по каким-нибудь торжественным поводам – в церкви, например, или на праздничных заседаниях Общества естественной истории и Библейского общества, куда члены этих обществ приходили с женами, а вместо чтения ученых докладов там говорили поздравительные речи и подавали скромное угощение и вино. Сегодня на Луи-Бенжамене был легкий светло-коричневый сюртук, шею обвивал белый шелковый платок. Флерио выглядел моложе своих лет, настроение у него по какой-то причине было превосходное, и он вызывал у Амели меньше робости, чем обычно.

– Благодарю, мсье, у нас все хорошо, – сказала она. – А у вас?

– Все в порядке, спасибо, – ответил Флерио и пошел рядом с ней и детьми. Он шагал так быстро и легко, что это Амели пришлось ускорить свои шаги, несмотря на пятидесятилетнюю разницу в возрасте между ними. – Направляетесь к морю?

– Да, мсье, мы спустимся на пляж, погода сегодня превосходная.

– Тогда нам по пути до улицы Шодрие и даже немного дальше. Я иду в префектуру за необходимыми мне справками из департаментского архива. Не стал бы навязывать свое общество, мадам, но кое-что меня извиняет: мне хочется вам первой рассказать новость, которая должна вам понравиться.

Каждый раз, когда Амели видела Флерио в обществе, вид у него был очень серьезный и даже неприступный. Но сегодня его небольшие живые темно-карие глаза глядели на нее почти весело. Он шурился от яркого солнца – не как небожитель, а как обычный человек. И поскольку Амели молчала и ждала, что он еще скажет, он заговорил снова:

– Я только вчера вернулся из Парижа и нашел на письменном столе среди почты приглашение на внеочередное заседание Филоматического общества Ла-Рошели. Оно собиралось тем же вечером, а я, к счастью, приехал днем, и поэтому успел на нем побывать. Его председатель, господин де Руасси, говорил о том, что до сих пор в нашем городе уделялось непропорционально мало внимания тому из искусств, которое стоит ближе других к Божественному началу, – то есть музыке. Заседание прошло в обстановке редкого единодушия между нами и закончилось тем, что все присутствующие вступили в новое, только что образованное Филармоническое общество. Разумеется, к нему могут присоединиться и те, кто не является членами Филоматического общества. Уверен, что пастор Декарт...

– И что это будет означать для города и для всех любителей музыки в Ла-Рошели? – нетерпеливо перебила его Амели.

– У города будет концертный зал, мадам, в нем будут проходить концерты, – немного удивился Флерио. – Мы объявим подписку и соберем средства, чтобы купить необходимые инструменты, арендуем для музыкальных представлений подходящий зал, к примеру, театральный, будем приглашать лучших певцов и музыкантов, а со временем в Ла-Рошели появится и свой оркестр. Неужели вы не рады? Ваш супруг однажды мне сказал, что вы знаете и любите музыку и сами хорошо играете.

– О, конечно, я рада, – попыталась изобразить оживление Амели.

– Вы не верите, что это произойдет достаточно быстро? – проникательно взглянул на нее Флерио. – В Обществе хватает таких стариков, как я. Мы понимаем, что у нас немного времени, и постараемся не затягивать дело, чтобы после нас оно не заглохло. Я думаю, наш концертный зал откроется к Рождеству.

Концертный зал!.. Как давно она не слышала по-настоящему великой музыки – Баха, Генделя, Глюка, Гайдна... Перед ее взглядом возник потсдамский королевский театр, она вспомнила вишневым бархатом кресел, белую лепнину и сусальную позолоту на стенах, мерцающий свет люстры на тысячу свечей, благоговейное молчание, которая нарушалась только сухим

потрескиванием вееров в руках у дам в тяжелых бархатных платьях да приглушенным покашливанием стариков в латаных фраках. Потом и эти звуки стихали, и в полнейшей тишине в зал падали первые аккорды увертюры, от которых сердце сжималось, падало куда-то и снова взлетало выше сводов театра, выше шпиля, венчающего купол, к солнцу и облакам!.. Уехав из Потсдама, она больше ни разу не испытала ничего подобного.

Здесь, конечно же, будет по-другому. Разве все эти здешние торговцы, которые разбираются лишь в сортах вина и умеют только считать деньги (Амели была готова признать, что это у них, по крайней мере, получается) могут подняться на высоты и заглянуть в бездны, которые подвластны лишь германскому музыкальному гению? Нет, даже и стараться не будут. Они станут исполнять и слушать свои французские бездумные оперетки, которые помогут им на один вечер отвлечься от бухгалтерии с цифрами. А потом отправятся в ресторан, будут пить вино, которое сами же продают, есть устрицы и самодовольно обсуждать увиденное в святом убеждении, что они просвещенные и культурные люди. Пожалуй, Амели готова была согласиться с мадам Адмиро, женой префекта, которая давным-давно ей сказала: «Музыки достаточно и в церкви, милочка».

Флерио искоса на нее посмотрел и перевел разговор на другое.

– Это и есть тот мальчик, которого я подержал на руках в день, когда его крестили? Очень вырос и, по-моему, вылитый отец. И его сестра уже настоящая юная барышня.

Мать незаметно ушипнула Фредерика и Мюриэль. Они одновременно поклонились, будто марионетки. Мальчик насупился, он терпеть не мог, когда в его присутствии о нем говорили в третьем лице. Флерио так вел себя от застенчивости, а не по какой-то другой причине, рядом с маленькими детьми он робел еще сильнее, чем в присутствии женщин, но Фредерик, разумеется, не мог этого знать. А мать тем временем рассказала, что он готовится к поступлению в школу. Флерио заговорил о Гизо, министре образования в правительстве его величества короля Луи-Филиппа. Стараниями этого Гизо во Франции появились доступные начальные школы. Вот и в Ла-Рошели теперь открылись две новые. Старый ученый заметил, что считает министра замечательным человеком не только потому, что он протестант. Он просветитель, убежденный в облагораживающей миссии образования и науки. По мнению Гизо, провинциальные общества, созданные для накопления знаний по различным областям науки – те зерна, из которых взойдут ростки нового, просвещенного мышления. Сам Гизо тоже ученый, прекрасный историк и писатель, и ему, Флерио, немного жаль, что он не получил хорошей подготовки в области изящной словесности и не может должным образом оценить его литературный стиль и научные идеи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.